

Мак Фрай

18+

правила
игры
в

человека

Макс Фрай

Александра Зволинская

Лора Белочина

Людмила Лея
Нина Хеймец

Ася Дятлова

Екатерина Перченкова

Кэти Грэнди

Юлия Ткачева

Александр Шуйский

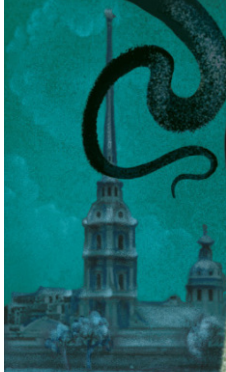
Ана Листьева

Ольга Березина

Мария Станкевич
Сергей Кашаев

Вера Филанко

Татьяна Замировская



Макс Фрай. Лучшие книги (илл. Закис)

Макс Фрай

Правила игры в человека

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Фрай М.

Правила игры в человека / М. Фрай — «Издательство АСТ»,
2022 — (Макс Фрай. Лучшие книги (илл. Закис))

ISBN 978-5-17-150158-7

В этой книге собраны рассказы, написанные участниками общества TextUs в 2020–2021 годах, когда иллюзий по поводу правил игры в человека у нас уже не оставалось. Играть без иллюзий трудно, но интересно. Это уже новый уровень. Потрясающая оказалась игра.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-150158-7

© Фрай М., 2022
© Издательство АСТ, 2022

Содержание

Мария Станкевич	6
Ходят	6
Вера Филенко	8
Скажите сыр	8
Макс Фрай	16
День, когда мы убили всех толстых	16
Лея Любомирская	19
Лусия	19
Заказывать будете	22
Успела	24
Сеньор Луис	25
Уж как-нибудь	27
На четвёртом этаже	29
Бабуля Леонильда	31
Очередь	33
Бывает в жизни рыба	34
Коробочка	36
Слёток Сильверий	38
Никогорадиопьеса для двух голосов	40
Это я, Господи	43
Ася Датнова	46
Колонизация	46
Татьяна Замировская	47
Хлорофилл	47
Благословлены иметь тебя в своей жизни	52
Три один один	61
Конец ознакомительного фрагмента.	64

**Макс Фрай, Лея Любомирская, Татьяна
Замировская, Лора Белоиван, Мария
Станкевич, Александр Шуйский, Ася
Датнова, Нина Хеймец, Екатерина
Перченкова, Кэти Тренд, Юлия
Ткачева, Вера Филенко, Александра
Зволинская, Ольга Березина,
Сергей Кашавцев, Яна Листьева
Правила игры в человека**

© Макс Фрай, 2022
© Л. Белоиван, 2022
© О. Березина, 2022
© А. Датнова, 2022
© Т. Замировская, 2022
© А. Зволинская, 2022
© С. Кашавцев, 2022
© В. Кузмицкая, 2022
© Я. Листьева, 2022
© Л. Любомирская, 2022
© Е. Перченкова, 2022
© М. Станкевич, 2022
© Ю. Ткачева, 2022
© К. Тренд, 2022
© Н. Хеймец, 2022
© А. Шуйский, 2022
© Ольга Закис, обложка, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022

Мария Станкевич

Ходят

– Ходят тут, и ходят, и ходят. Чего ходят? Зачем ходят? Окаянные, ходят они. Судят они.

Руки у бабки сухие, жилистые, а живот большой. И грудь на этом животе лежала тоже огромная, тугая и даже не колыхалась, когда бабка напирала на лопату и всаживала ее во влажную тяжелую землю – хэкала, набирала и отбрасывала комья. Матвей бы так не смог, он слабый.

– И ходят, и ходят. Чего ходят? – бабка ворчала не зло, больше по привычке. Матвей висел на заборе, следил, как лопата вгрызается в землю бабкиными стараниями, и просто ждал: когда бабка закончит, она пойдет готовить обед и накормит его. Самого его к готовке бабка не подпускала, он суерукий.

Земля летела с лопаты, получался холмик, а под лопатой – яма. Матвей смотрел молча, с тихим интересом. Бабка ворчала, холмик рос. Большой черный мешок, обвязанный веревкой, вяло шевелился и мычал. Из небольшой прорехи торчало перо – белое, длинное. Наверное, мягкое.

– Ходят, и ходят, и ходят, – бабка воткнула лопату в холмик и устало сплюнула. Матвей сплюнул тоже. Украдкой – на удачу. Ему бабка плевать не разрешала.

Мешок заколыхался, замычал громче. Бабка сплюнула еще раз, потом достала из кармана самокрутку, долго разминала ее, долго шуршала спичечным коробком. Матвей смотрел, как трясутся ее пальцы, но помощь не предлагал. Куда ему – к спичкам.

Закурив, бабка легонько пнула мешок: молчи уж, ходит он тут, мычит. Матвей тоже хотел бы пнуть, он на секунду представил, как это приятно, когда нога входит в мягкое. Но о таком даже заикнуться невозможно, бабка быстро расскажет, какой еще он после этого. Хорошо, если в подвал не посадит, чтобы подумал.

Да и не сможет он. Слабый и суерукий. И еще какой-нибудь.

Матвей оглядел поле, сосчитал, сколько раз бабка рыла ямы. Много, штук шесть или восемь. Это если не считать самой большой ямы на дальнем краю, куда сбрасывала тех, кто попроще, кто и до забора-то добраться не сумел. Там уж без мешков даже. Интересно, у тех тоже перья? Или так? Матвей не видел, бабка туда соваться строго-настрого запрещала.

Бабка бросила окурок в яму и потянулась к мешку. Жалко, что перья не разрешает брать, все собирает потом и жжет тщательно. А Матвею быгодились. Смастерил бы что-нибудь, а то скучно.

– Ох, грехи наши тяжкие, – обеими руками бабка схватила извивающийся и мычащий мешок за угол и с трудом подтащила его к яме. Остановилась, отдышалась и сбросила мешок вниз двумя тяжелыми пинками (Матвей еще раз сладко представил). Затем снова взялась за лопату.

Когда яма перестала быть ямой и стала просто участком слегка взрыхленной земли, а бабка потянулась в карман за новой самокруткой, Матвей рискнул.

– Б-баб, а эт-то к-кто? Опять, д-да? – глупые вопросы, сейчас бабка как ответит! Но как удержаться?

– Да а кто ж, балбес ты этакий! Опять, ясное дело! Ходят они, судят они! – бабка тяжело дышала, выпуская дым. Матвей сначала обрадовался, что не ругается, а потом быстро испугался: чего так, вдруг помирает? Старая ж уже совсем, трудно ей с лопатой, а эти все ходят и ходят. Бабка иногда говорила: вот помру, Матвеюшка, один совсем останешься. Матвей не хотел оставаться один. Он и так один, кроме бабки и нет никого. Как Судный день прошел, так и нет больше. Кто его защитит от вечных мук? Он же слабый.

– Б-баб, ты в-в п-порядке?

– В порядке, Матвеюшка, в порядке, – бабка закашлялась, отхаркнула. Махнула рукой. – Сейчас докурю, обед пойдем спроворим. Чего хочешь?

Матвей пожал плечами: как будто выбор большой. Мука с лебедой, да лебеда с мукой. Если только вдруг мышь не попалась. Вчера не попалась. И позавчера тоже. А вдруг сегодня? Встрепенувшись и тотчас же забыв про перья, Матвей криво, но резво спрыгнул с забора и заковылял к дому – проверить мышеловки. Бабка только охнула вслед: куда сигать?! Ноги переломаешь! Матвей даже не оглянулся. Суерукий суеруким, а мыши в его ловушки нет-нет, да и попадают.

Жалко, бабка ангелов есть не хочет. Надрывается, закапывает, а есть не хочет. Не по-христиански, говорит. А что они за ними все ходят и ходят – по-христиански, что ли? Если Судный день прошел, так все, что ли? И не живи никто? Жалко, Матвей слабый, а то он бы этих ангелов! Уж, поди, мясо будет не хуже мышьего.

Мышь, впрочем, тоже оказалось ничего. Повезло сегодня.

Вера Филенко

Скажите сыр

– о блядь, нет, пожалуйста, – тихо сказал ян, всматриваясь в окно. кира недоуменно посмотрела на него, потянула дверь на себя и решительно вошла в одиноко стоящий в тупике магазинчик с вывеской «своя еда». внутри отчетливо пахло краской и козлом.

– кого я вижу! какие люди! – радостно закричал седой здоровяк в белом фартуке за прилавком.

– о блядь, – одними губами сказала кира и лучезарно улыбнулась: – добрый день!

мужчина довольно резво для своего возраста выскочил из-за прилавка и пошел на яна с рукой, вскинутой, как алебарда, точно целясь ему в живот. ян ловко перехватил ладонь и ответил на энергичное пожатие.

– какими судьбами, соседи? далеко вас занесло от дома, – здоровяк улыбался так, что казалось, будто его губы сейчас сомкнутся у него на затылке, и голова отвалится, как срезанная верхушка арбуза.

– да уж, – сказал ян. кира закашлялась и принялась изучать содержимое витрин. из подсобки за прилавком вышла рыжая тощая женщина в таком же, как на старике, белом фартуке.

– ого, – сказала женщина, – привет.

– липа, доча, покажи ребятам, что у нас есть, – сказал мужчина.

липа отодвинула стеклянную полку и запустила в холодильник руку, пальцем указывая на лоснящиеся под желтым светом головы сыра и творожные развалины.

– тут у нас свежие сыры, есть твердые, есть валансе, сент-мор-де-турен, шевр, есть раklet, а вот творог...

кира зачарованно следила за движениями пухлого пальца с коротким красным ногтем.

«беда», подумал ян, вслух светски спросил:

– давно открылись?

– да вот на днях, только ремонт закончили.

ян осмотрелся по сторонам: крохотное помещение, несколько полок, заставленных затейливой бакалеей, хлебные корзины, ящики с ягодами и зеленью и ослепительно сияющий алтарь молочной витрины.

– все свежее, от местных фермеров и ремесленников, без всякой химии, натуральное, все свое, наше, – гордо сказал старик.

– отважно вы сейчас бизнес затеяли, – сказал ян, – да еще в таком медвежьем углу.

– кому надо – найдет, – развел руками мужчина. – и потом, все равно все не уедут. а вы сами как, пока не собираетесь? вы, кстати, кем работаете? что-то с компьютерами, кажется?

– дай денег, – сказала кира.

ян молча полез в карман и сунул кире кошелек.

– терминал еще не работает, – сказала липа и протянула увесистый коричневый пакет через прилавок.

– а вы себе ничего не возьмете? – спросил старик. – мясо у нас тоже есть, – и пристально посмотрел яну в глаза.

– не сегодня, – сказал ян, – нам пора.

– жаль, жаль, – сказал мужчина, – соне от артура привет.

ян вышел на улицу, закурил. за ним вышла кира, осторожно прижимая к груди бумажный пакет.

– у него такие глаза странные, – сказала кира. – как у рыбы. и сами они странные.

– странные-странные, но нагребла ты у них от души, – кисло сказал ян.

– ну, сыр-то нормально выглядит, – обиделась кира.

– посмотрим, – сказал ян. – поехали.

едва усевшись на сиденье, кира принялась шуршать пакетом.

– не ешь в машине, пожалуйста, – сказал ян.

– што это жа имена вообще – лыпа! майк! да ему сто лет, какой он майк, – сказала кира с набитым ртом.

ян покосился на жену: подол юбки уже усыпан крошками, жирные пальцы тычут в кнопки магнитолы.

– сыр, кстати, правда нормальный – хочешь?

ян покачал головой и протянул кире салфетки.

по городу ехали мучительно долго, припарковались во дворе, где свирепо орали дети, бегая друг за другом с мокрыми палками, выловили из чумазой кучи дочь соню и наконец зашли домой.

на этаже сокрушительно пахло вареной свиньей.

– до сих пор воняет, – зажала нос соня, – что они там опять готовят?

– борщ, – предположил ян.

– у бабушки борщ не так пахнет, – заныла соня.

– или маленьких детей! – сделала страшные глаза кира и загремела ключами.

– у них самих дети, – устало сказала соня.

– артур не маленький, – педантично заметил ян.

соня закатила глаза.

– они меня в гости звали, кстати. можно?

– кто? – тупо спросил ян.

– артур. и липа. и майк. мы будем делать мыло.

– нет, – разозлился ян. – нельзя. с ними только во дворе.

– и то! – напомнила кира.

соня запыхтела и хлопнула дверью комнаты. родители устало переглянулись.

отпускать соню с этой семьей не хотелось даже в нейтральные воды общего двора, где артур, сын липы и внук майка, был рок-звездой среди детей – вместе они палили мусор в бочке (возмутительно), взрывали петарды, тискали откровенно лишайных котов, ели какую-то пакость из пакетов и делали вместе еще бог весть что, но в открытую конфронтацию вступать с ними не хотелось – предъявить им по существу, кроме костров в бочке, невнятных запахов в подъезде и рыбьих глаз, было нечего. также поговаривали, что они мелкотравчато стучат на соседей, поэтому ссориться с ними хотелось еще меньше – впрочем, как и дружить. как-то ян увидел, как майк с внуком стоят на крыльце и снимают на старенький телефон парней из пятого подъезда, тихо переговаривающихся о чем-то возле песочницы.

– зачем вы их снимаете? – не выдержал ян.

– для истории, – сказал майк, и оба лениво посмотрели на яна своими невыносимыми рыбьими глазами, в которых плескался металл. подумав, ян решил не уточнять, для какой.

– да нормальный сыр, чего ты, – сказала кира и отправила в рот еще один липкий желтый ломоть, – попробуй.

– боже упаси, – сказал ян и открыл ноутбук. в почте было пусто – ну, как пусто, гора писем, среди которых не было единственного нужного, с подтверждением его перевода в филиал, прозорливо открытый компанией несколько лет назад в небольшой западной столице. вопрос считался уже решенным, но что-то застряло в толстой стопке внутренней бюрократии, закрытых границ и других проблем, и зависло, как три мигающие точки в окне мессенджера, как будто кто-то нудный пишет тебе бесконечное сообщение и никак не нажмет send. это ожидание выматывало не меньше самой атмосферы, которую хотелось экстренно покинуть или хотя бы вспороть ножом. не хотелось ничего, даже душеспасительного потребления: ни новых вещей (зачем они перед переездом? зачем вещи вообще?), ни путешествий (кто куда сейчас едет просто так? серьезно?), ни ресторанов (с кем? все равно все уехали, все равно все закрыто, на месте любимых заведений открывались блядские дискаунтеры, на месте друзей – отметки в соцсетях), не хотелось толком есть вообще.

– очень вкусный сыр, – мечтательно сказала кира, шелестя пододеяльником, резко села в кровати и убежала на кухню, гулко стуча пятками. где-то далеко стукнула дверь холодильника. ян хотел что-то сказать, но беспомощно провалился в сон.

тянулись дни, не заполненные ничем, кроме вязкого, тяжелого ожидания. «что-то сейчас будет, вот-вот что-то изменится», с тихой надеждой говорили другу другу редкие оставшиеся – как заклинание («совсем скоро, это в воздухе уже»).

– это радиация, – мрачно говорила в окошко зума катя, кирина подруга. – в воздухе радиация. ну, не настоящая, просто она так выглядит: внешне ничего не происходит, но все меняется, и хрен пойми как, но явно не к добру. это как в том сериале про чернобыль: дети идут в школу, бабы рожают, каштаны цветут, а еще никто не знает, что уже все!

– слушай, может, приедешь? в трех шагах живешь, – раздраженно говорила кира, откусывая ломоть хлеба с щедрой порцией сыра, – или встретимся в городе, кофе выпьем как люди.

– ай, чего тащиться, и так кофе выпить можно. будущее! – отвечала катя, выходила из кадра, сверкая голыми ногами в пижамных трусах, и возвращалась с гигантской чашкой, из которой торчала нитка с желтым ярлыком.

кира закатывала глаза и отрезала еще кусок хлеба, клала на него еще кусок сыра – свежего, купленного в соседской лавке, в которую она стала наведываться почти каждый день. чаще она ездила туда сама, тайком, прикрываясь тренировкой или встречей с катей. иногда ее привозил туда ян и ждал в машине, пока она делала кассу липе и майку, и категорически отказывался зайти внутрь. где-то глубоко он малодушно радовался успеху соседского проекта – артур почти перестал тягаться по двору с детьми, помогая деду и матери в лавке, а запахи в подъезде стали редкими гостями. напрягало только то, что кира почти перестала есть что-либо, кроме сыра и хлеба, купленного все там же.

– хоть овощей возьми, – говорил ян, – или ягод. клетчатка нужна. и белок.

– в сыре белок, в хлебе клетчатка, – борзо отвечала кира.

– поешь нормально, – сказал ян. – ты как скелет.

парадоксальным образом на этой диете кира теряла в весе. ян заставил ее пройти обследование по семейной страховке от фирмы (будет ли такая страховка там? будет ли это там вообще? с каждым днем ян верил в это все меньше и все глубже вгрызался в свои рендеры, с уютной скукой глядящие на него с его гигантских рабочих мониторов). обследование не выявило ничего драматичного, кроме умеренного дефицита витамина Д и опущенной почки.

– я ем нормально, – сказала кира. – что там с твоим переводом? с сониной школой нужно решать.

– решим, – сказал ян, стиснув зубы, и злобно защелкал мышкой.

вечера стали холоднее и длиннее, соня продолжала носиться по двору с воплями и рогаткой, однажды завалилась домой с огромной компанией – мам, мы в туалет, дай водички, есть что поесть?

– могу сварить сосиски с макаронами, – задумчиво сказала кира, изучая холодильник.

– это долго! давай бутеры! умираем хотим есть!

– не с чем, – быстро сказала кира, проворно захлопнув дверь перед носом дочери.

– с сыром!

– сыра мало, выбирайте: макароны или смерть. или гречка. – властно сказала кира.

дети покорились судьбе, через полчаса все сидели за столом, сосредоточенно наматывая на вилки утопающие в крови кетчупа спагетти. кира внимательно рассматривала артура, сидящего рядом с дочерью. длинный, рыжий, жилистый, как мать, и с блеклыми, словно постиранными, но цепкими глазами деда.

– а ты чего не ешь?

– а он вообще никогда не ест, – ехидно сказала пухлая фима из третьего подъезда.

артур внимательно посмотрел на фиму. та испуганно уткнулась в тарелку.

– такое, – тихо добавила она.

– я не голоден, спасибо, – вежливо сказал артур.

кира хмыкнула и стала убирать тарелки. еда была буквально уничтожена – посуду можно было просто протереть, за исключением тарелки мальчика. кира подождала, когда хлопнет дверь, и брезгливо соскребла остывшие макароны в отдельный пакет – несмотря на то, что к еде подросток не притронулся, трогать ее самой тоже почему-то не хотелось.

– а вдруг они откажут? – спрашивала кира ночью, прижимаясь к яну костлявым боком.

– значит, откажут, – отвечал ян, осторожно перебирая ребра жены. – значит, буду искать другие варианты. тут нельзя оставаться.

– почему нельзя? – спросила кира.

ян повернулся к жене и внимательно посмотрел на нее, словно видя впервые.

– ты шутишь сейчас?

– нет, – спокойно ответила кира.

в темноте ее лицо казалось чужим. ян рассматривал ее, словно пытаясь собрать воедино новые для него ломкие линии – заострившийся нос, резкий подбородок, впалые скулы, о которых она всегда мечтала (о чем она еще мечтала? выучиться на режиссера? выпустить альбом? переплыть босфор? родить еще ребенка? невозможно вспомнить). линии отказывались собираться во что-то хоть отдаленно знакомое.

«смотрю ее, как наташа ростова – оперу», подумал ян и рассмеялся.

– что смешного? – так же спокойно спросила кира. – а чем нам тут плохо?

– а чем нам тут хорошо? – тихо спросил ян.

кира напряглась, скинула с себя плеть руки мужа и пошла на кухню. оттуда донесся шелест бумажного пакета.

ян закрыл глаза.

наступила осень. соня с ворчанием пошла в школу – она уже раструбила всем одноклассникам, что уезжает в другую страну, и теперь возвращение выглядело позором. walk of shame! кричала она из прихожей на своем отполированном репетиторами и сериалами английском, хлопала дверью, и в квартире повисала тишина. ян вставал рано, с остервенением работал и варил супы, кира спала до полудня, с остервенением драила квартиру и ела сыр – уже без хлеба, просто кромсая его ножом и слизывая с лезвия без малейшего страха порезать язык. в лавку они ездить перестали – теперь сыр попадал прямым ходом в квартиру, но сначала его нужно было забрать у соседей. кира стала заходить к ним: сначала к двери – воровато, как у курьера из сексшопа, выхватывала сверток из рук майка, потом начала заходить внутрь, потом стала проводить там часы. это ян заметил не сразу.

– что ты там делаешь? – однажды вечером спросил ян, словив ее в дверях.

– ну так, – неопределенно пожимала кира плечами. – болтаю.

– значит, так, – жестко сказал ян. – я тебе туда ходить не разрешаю, сыр этот ебанный ты есть прекращаешь, начинаешь нормально питаться и заниматься ребенком. ей, кстати, тоже туда нельзя.

– что нам еще нельзя? – спросила кира. – что нам тут всем еще, блядь, нельзя?

ян с удивлением посмотрел на жену. она глядела на него с яростью, от которой веяло холодом и козлиным душком. он тихо покачался на пятках и пошел обратно в кабинет. сел перед монитором, дрожащим курсором ткнул в черную жирную строчку во входящих, прочитал письмо, долго смотрел в экран. пошел на кухню, налил стакан выдохшегося от старости портвейна и закурил.

– кури на балконе, – раздраженно сказала кира.

– мы уезжаем, – сказал ян.

кира медленно опустилась на стул.

– когда? – спросила кира.

– через месяц. мне пришло подтверждение. осталась проверка службой безопасности, но это формальность. визы нам сделают за пару дней.

кира подперла лицо кулаком и принялась смотреть в окно.

– ты ничего не скажешь? – спросил ян.

– мы не поедem, – сказала кира.

ян уставился на жену.

– в каком смысле?

– в прямом.

– ага, – сказал ян. – это еще что за новости?

– ну почему новости. просто я уже не понимаю, чтобы что. чем там будет лучше? что мы будем делать? так же дома сидеть? я дома хочу сидеть дома. кому мы там нужны, кроме твоих рабовладельцев? там для нас ничего.

– а тут что? – тихо спросил ян.

– и тут ничего. но тут хоть наше ничего.

– так, – сказал ян. – я сейчас пойду этому майку с его липой их сраный сыр с героином в дупу запишаю. что они тебе там в голове накрутили?

– ничего не накрутили, отстань от них, нормальные люди.

– да что в них нормального? – заорал ян.

кира даже не пошевелилась.

– мы не поедем.

– оставайся, мы с соней поедем.

кира наконец посмотрела на мужа.

– ты не понял. мы все не поедем.

ян прыснул со смеху, забрал бутылку и ушел спать на диван.

если раньше дни тянулись, то сейчас они неслись кубарем, толкались локтями, слипаясь в промозглый ком из телефонных звонков (их вдруг стало очень много, больше, чем ян привык выносить), работы (ее вдруг тоже стало больше, чем обычно), сборов и суеты. суетился в основном ян, кирка окончательно замкнулась и сидела целыми днями на стуле в кухне, изредка неохотно ела суп, который варил ян – преимущественно себе и дочери. готовить кирка почти перестала, есть – тоже. сыра в доме больше не было.

за неделю до отъезда ян не смог найти паспорта, перерыл всю квартиру, заглянул даже на антресоли, где нашел казавшиеся потерянными навсегда собственные детские рисунки из художки. это было приятно, но с документами вопрос не решало.

– ты не хочешь помочь искать? – спросил ян кирку. – это, вообще-то, твой паспорт.

– а я его порвала, – вдруг сказала кирка, с трудом отлепив глаза от окна, под которым торчал майк, что-то отчаянно заливающий новой соседке с дрожащим йорком на руках.

– кирка, хорош, – поморщился ян, – шутки кончились.

– показать? – яна полезла в холодильник, достала из нее черный икеевский контейнер, один из тех, в которых раньше хранился сыр.

«беда», подумал ян, рассматривая скомканные клочки плотной бумаги и темного картона. под плотной пленкой по кириному мятому лицу ползло угрюмое масляное пятно. кирка торжествующе смотрела на яна.

– ага, – сказал ян. – а наши с соней где?

кирка молча достала еще два черных контейнера. паспорт дочери явно рвался хуже, кире пришлось резать его ножницами. на искромсанное лицо дочери ян смотреть уже не мог. третий контейнер решил не открывать.

– ага, – снова сказал ян. – а сама соня где?

– где-то гуляет, – равнодушно сказала кирка.

ян выглянул в окно, за которым уже не было никого, кроме одинокого йорка, деловито скребущего мокрую землю задними лапами.

– я же тебе сказала, что мы все никуда не поедем, – сказала кирка и улыбнулась новой неприятной улыбкой.

ян схватил телефон, быстро пошел в прихожую, вытащил из сумки ключи жены, захлопнул дверь, дернул ручку (закрыто), побежал по лестнице вниз, набирая номер дочери. где-то совсем рядом раздался знакомый рингтон. два пролета спустя ян наткнулся на артура, стоящего у лифта с соней. молча схватил дочь за локоть, потащил ее из подъезда под застывшим ртутным взглядом артура, запихал в машину, завел мотор.

– что случилось? я домой хочу, к маме! – захныкала соня.

– поедешь к бабушке, – сказал ян и утопил педаль газа.

в дороге ян немного успокоился: позвонил маме, предупредил, что внучка на выходные останется у нее, нет, ничего не случилось, все в порядке, просто нужно собираться, скоро

будем, папе привет; завез упирающуюся дочь родителям, в пробке загуллил срочную выдачу паспортов, недовольно заскрипел – со всеми доплатами по срокам все равно выходило впри-
тык. на экране высветился входящий вызов с работы – звонил петька, его лид.

– петька, а я тебе как раз звонить собрался, – ян включил громкую связь и быстро затара-
торил: – короче, тут у меня с документами накладка, не успею к первому числу визу получить,
видимо. мы можем выход перенести?

по салону разнесся громкий вздох.

– ян, за тобой сейчас приходили.

– кто? – тупо спросил ян.

– ну, кто. дома тебя не было, приехали в офис.

по окнам потекли струи дождя – жирные, густые, почти как нефть, только светлая.

– что они хотят? – устало спросил ян.

– тебя. за содействие, участие, проведение, финансирование, вот это все.

– да я два года не выходил никуда, – почти удивленно сказал ян, – какое участие-прове-
дение?

– короче. пара часов у тебя есть.

ян нажал отбой, остановился на пешеходном переходе, пропуская беременную женщину
в дождевике и школьниц, уткнувшихся в телефоны.

«деревья уже совсем голые», машинально отметил ян, глядя на лысые ветви хилых каш-
танов, высаженных вдоль дороги. на экране высветился незнакомый номер. ян выключил звук
и аккуратно свернул с проспекта.

рыжая женщина в стеганой куртке вышла из магазина с вывеской «своя еда», закрыла
дверь, подергала ручку, нажала кнопку сигнализации и пошла к метро, прикрывая голову деше-
вым зонтом.

«что это за имя – липа. даже звучит как подделка», подумал ян. дождался, пока аляпо-
ватый зонт скроется за углом. выкурил еще три сигареты, стер все чаты и фото в телефоне,
вынул симку, выкинул ее из окна. вышел из машины, открыл багажник, достал оттуда канистру
с бензином, щедро плеснул на пластиковую дверь.

– настоящее, что твоя липа, – громко сказал ян и захихикал. поджег спичку и бросил на
асфальт, завороченно наблюдая, как жидкое пламя украдкой потекло к двери. быстро опом-
нился, побежал в машину, пристегнулся и выехал из тупика.

снова начался дождь – но уже мелкий, каплями врывающийся в стекла, словно игол-
ками. ян заехал в макдрайв и взял там огромный бургер, ведро картошки, наггетсы, молочный
коктейль и диетическую колу, чем искренне развеселил девушку в окошке заказа. вернулся в
центр, припарковался напротив озера, возле старого здания телерадиокомпании, на которой
когда-то начинал монтажником. развернул коричневый хрустящий пакет и принялся сосредото-
ченно уминать еду. полез в бардачок за салфетками, оттуда выкатилась старая кирина помада.
ян открыл тяжелый кожаный колпачок, выдвинул влажный красный столбик. принялся к
нему. от помады легко тянуло отдушкой и каким-то животным – не козым, это точно – жиром.
ян осторожно надавил на столбик, тот послушно прогнулся под пальцами.

«соне с мамой будет хорошо», решил ян, задумчиво растирая маслянистую краску поду-
шечками пальцев. «тут же правда в целом может быть хорошо, если знать, чем именно». отло-

жил истерзанный тюбик, развернул теплый белый сверток. в зеркале заднего вида замаячили синие проблески, сквозь закрытое стекло глухо донесся звук сирен. ян впился зубами в картонную булку, посыпанную кунжутом, и с наслаждением отгрыз огромный кусок.

Макс Фрай

День, когда мы убили всех толстых

День Национального Здоровья, день, когда мы убили всех толстых, празднуют двадцать пятого сентября. На самом деле, с толстыми покончили раньше, последнюю жирную мразь с перевесом целых полтора килограмма, согласно объявлению в официальном фейсбуке Национальной Полиции Здоровья, нашли по доносу бдительного пенсионера в какой-то пещере на Алтае и убили ещё весной, но правительство затянуло с объявлением праздничной даты, они тогда ждали, что к Евразийскому Кодексу Оздоровления Жизни присоединится Китай, но не дождались, косорылые передумали. Жалко, что мы их за это не разбомбили, народ выходил на митинги, требовал начинать войну, но политики выкрутились, все как один написали в своих фейсбуках, типа косорылые к нам сами просились, это мы отказались их принимать, пока не приведут законодательство в соответствие с Едиными Евразийскими Стандартами Оздоровления. А потом, когда всё утихло, подписали с Китаем контракт на поставки костей для строительства и сала для ресторанов, политика такое говно.

В тот день, когда людям разрешили убивать толстых, мне исполнилось восемнадцать лет, и новый закон стал подарком на мой день рождения; я не совсем дурак, понимаю, что так просто совпало, но всё равно сердцем чувствую, что закон был подарком лично мне. Это был самый лучший день рождения в мире, мы с пацанами выпили по четыре банки обезжиренных энергетиков и пошли в три тысячи восемьсот тринадцатую дробь фэ квартиру, где тогда жила жирная тварь, как её кличка – Катька, Наташка? – не помню. Она весила почти целых семьдесят килограммов, теперь даже представить нельзя, чтобы баба так разожралась, а тогда ещё было много таких как она и даже жирней.

Мне повезло, в нормальное время родился. А ведь совсем недавно, когда моя мамаша была молодой, все жили в страшном уродливом мире, где у жирных были права, как у нормальных людей. Этих скотов даже в школах учили вместе с человеческими детьми и в общественный транспорт пускали всего за двойную цену, и жрачку им продавали неограниченно, были бы деньги, о чём тут вообще говорить.

С жирными вообще слишком долго нянчились, либеральная пропаганда запудрила всем мозги. Даже в оздоровительные лагеря первые десять лет их отправляли только по доброй воле, тех, кто сам хотел похудеть, а потом, когда лагеря наконец-то стали обязательными, лечили их за счёт государства, страшно подумать, сколько народных денег, взятых из карманов налогоплательщиков, на них извели.

Потом, когда профессор Магдала Хиттер из Бостонского Университета доказала, что существа, склонные к ожирению, генетически отличаются от нормальных людей, поскольку наши предки специально разводили их предков как мясную породу, чтобы обеспечить свои потребности в здоровой белковой пище, а Папа Римский совместно с Патриархом Православной Церкви издали Указ о генетической предрасположенности толстых к отсутствию христианской души, либералам стало так стыдно, что многие покончили с собой. Я считаю, туда и дорога, хотя лучше бы они перед смертью больше помучились. Было бы справедливо, если бы их заживо разорвали на куски, или сварили в кипящем масле, всё-таки они чуть не погубили человечество, чуть не лишили здорового будущего наших детей.

Моя мамаша конечно та ещё дура, связалась по пьяни с жирным ублюдком; теперь, слава богу, ни хрена не докажешь, мамаша вовремя спохватилась, исправила документы, поэтому у меня в свидетельстве о рождении написано: «отец неизвестен», но я-то знаю, что он был жирный кабан, мне рассказала соседка Альбина. К счастью, у соседки Альбины был перевес почти два кило выше нормы, я сам убил эту жирную суку, и обществу польза, и меня больше не сможет шантажировать, сама виновата, что так разожралась, а то бы могла.

Но генетику мне мамаша подпортила. Мне всю жизнь было гораздо трудней оставаться в пределах нормы, чем другим. Шести обязательных часов спортивных занятий в сутки для меня маловато, приходилось хотя бы через день увеличивать до восьми. И норму калорий я добровольно снизил до тысячи восьмисот в сутки; трудно, но это лучше, чем всё время жить на самой границе нормы и перед очередным еженедельным контрольным взвешиванием инфаркт получить.

* * *

По старому законодательству, когда норму веса мужчины вычисляли по схеме «рост минус сто», а для баб работала схема «рост минус сто десять», у меня бы никаких проблем не возникло. Но тут мне подгадили феминистки, добились равенства весовых норм. Я не знаю, почему правительство согласилось вместо того, чтобы просто забанить их во всех официальных фейсбуках, это ужасно тупо, даже таким безграмотным дурам должно быть понятно, что у любого нормального мужика есть мускулы, что здоровое мужское мясо весит больше, чем больной бабий жир. Но эти сучки подняли визг на весь мир, и добились своего, теперь всех меряют бабской нормой, и это, конечно, засада. Но всё равно, лучше уж так, чем нездоровая скотская жизнь без норм.

Мне вообще грех жаловаться. Как бы там ни сложилось, но одно можно сказать уверенно: молодость у меня была отличная. Такая, какая надо. Когда ты молод, хочется убивать. Но при этом надо соблюдать законы и думать об общественной пользе. Послушание обществу – то, что отличает людей от тупых скотов. Счастлив тот, кому в юности посчастливилось убивать, принося пользу обществу! В старину такое было возможно только на войне. Но общество развивалось, стало гуманным и просвещённым, задумалось о здоровье людей, и благодаря этому наступили наши счастливые времена, когда каждый обязан соответствовать здоровым нормам. А тех, кто не соответствует, можно и даже обязательно убивать. Я знаю, что среди моих ровесников есть чистоплюи, которые не ходили в рейды здоровья, тогда это не было обязательно, каждый выбирал сам. Я на них не сержусь, хотя по их милости на плечи добровольцев легла слишком большая нагрузка. Я их даже немного жалею. Считаю, сами наказали себя. Жили в такие интересные времена, а теперь им и вспомнить нечего. И детям рассказать.

Уж я бы нашёл, что рассказать своим детям! Но у меня нет детей, в вопросе продолжения рода не повезло. С другой стороны, это даже закономерно, человеку не может везти абсолютно во всём. Главное, моя совесть чиста: я сделал всё, что было в моих силах. Памятуя о жирном папаше, подпортившем мне генетику, искал идеальную жену, с наследственным низким весом. Чтобы у всех баб в роду вес ниже допустимых пределов здоровой нормы хотя бы на двадцать килограммов. И нашёл даже лучше. У моей Анжелки был рост метр семьдесят четыре, а вес – сорок пять килограммов. Такие тёлки всегда нарасхват, но я и сам в молодости был красавчиком. И умел красиво ухаживать, никогда не лупил своих баб. Я и сейчас вполне ничего, даже

жаль, что законы запрещают заводить новые интимные связи мужчинам старше пятидесяти; в этом возрасте большинство, конечно, уже ни на что не годится, но я-то ещё хоть куда.

А с Анжелкой у меня хорошо получилось, я ей сразу понравился. Я был очень спортивный, высокий, худой, мускулистый, с кубиками на животе, подружки ей страшно завидовали, понимали, что им не светит. При всём уважении к показателям здоровой нормы, скажу как есть: все они выглядели коровами, хоть и не настолько жирными, чтобы за это их убивать.

С Анжелой мы хорошо ладили. Прожили вместе почти десять лет. Тогда за сотню задокументированных убийств сразу давали отдельную квартиру, и после каждой новой сотни можно было подавать заявление на улучшение жилищных условий, так что я не в какую-то комнатуху, а в двухэтажные хоромы жену привёл. У нас даже был свой домашний спортзал для дополнительных занятий, а такой роскошью могут похвастаться только самые успешные богачи. Анжела долго не могла забеременеть, я её за это то лупил, то таскал по врачам, короче, очень переживал. Но наконец всё получилось, и я был счастлив ровно девять месяцев, пока эта сучка не родила.

Я до сих пор не знаю, как могло получиться, что в нормальной здоровой семье у нормальных здоровых родителей родился отвратительный жирный урод с перевесом. Четыре килограмма сто граммов при максимальной норме три с половиной. Его ликвидировали сразу же после первого взвешивания. Несмыслимый позор. Я конечно сразу сказал Анжеле, что это она виновата, ленивая сука, говорил же я ей, что обязательно надо регулярно бегать марафон для беременных, а она, дура упрямая, соглашалась только на полумарафон. Уверен, что причина именно в этом. Но в глубине души опасаясь, что не только в ней дело. Мой жирный папаша тоже сыграл свою роль. Может и хорошо, что я не оставляю потомства. Я генетически ущербен, риск наследственного ожирения слишком велик, чтобы продолжать род. Так что всё действительно к лучшему. Жизнь сурова, но справедлива. Только самые здоровые люди имеют право заселить своим безупречным потомством наш совершенный здоровый мир.

Сегодня День Национального Здоровья, день, когда мы убили всех толстых. Я лично много для этого сделал и очень горд своим вкладом. В этот знаменательный день я решил отблагодарить общество за предоставленную мне возможность вести здоровую жизнь среди красивых спортивных людей и своими руками убить столько жирных уродов, на сколько хватило сил. В знак благодарности я добровольно уйду из жизни на целых шесть лет раньше, чем предписано старикам, хотя мой вес позволяет мне спокойно прожить эти годы, не нарушая законодательства. Но общественная польза превыше всего. Если общественные инспекторы, которые найдут моё тело, сочтут возможным выполнить мою последнюю просьбу, я бы хотел, чтобы мои останки были использованы для удобрений полей, где выращивают безуглеводные злаки, а не проданы для дальнейшей утилизации в пунктах общественного питания в Китай или любую другую страну, где не действуют Единые Евразийские Стандарты Оздоровления. Верю, что наше общество не допустит, чтобы героя национального освобождения от толстых съели жирные твари, у которых генетически нет предрасположенности к возникновению здоровой спортивной христианской души.

Лея Любомирская

Лусия

приехала, как все – нелегально. это сейчас у вас безвиз, биометрия, а тогда покупали самую дешёвую поездку на коста-дель-соль или коста-дорада, вещей с собой брали немного, не отдыхать ехали, у кого были дети – оставляли матерям, матери плакали, которые верующие, крестили, говорили, куда тебя, дуру, несёт, в такую даль, но сами тоже понимали, что дома делать нечего, ни работы, ни перспектив.

летели чартером, все вместе, сразу перезнакомились, пили за успех домашнюю наливку, тогда ещё можно было брать в самолёт, это потом запретили. паспорта ихние все были у сопровождающего из агентства, потом должны были вернуть, как пройдут паспортный контроль, но не вернули, конечно, сопровождающий всю пачку отдал другому человеку, который встречал их с автобусом, это, сказал, для вашей же пользы, чтоб никто из вас не потерялся и документы не потерял, а то, знаете, был у нас случай в прошлом году и лицо сделал, мол, не дай бог никому такого случая.

денёк им позволили покупаться, поваляться на пляже, прогуляться по набережной, вечером отвели в ресторан, подносы с едой стояли в центре зала, креветки, ракушки, рис жёлтый, длинненький, фрукты всякие, кушай, сколько влезет, хоть по три добавки бери, если совесть позволяет, и тарелки здоровенные, не как дома, где тарелочки махонькие и плати за каждый подход. они так прекрасно тогда посидели, наелись креветок, выпили, конечно, вино там прямо на столах стояло красное и белое, не очень вкусное, несладкое, но тоже сколько хочешь, она выпила белого, знала, что к рыбе надо белое, а креветки почти что рыба, а девчонки пили красное, чокались, рассказывали, как потратят деньги, её тоже спросили, она сказала – мамке отдам, над ней посмеялись, но не обидно, она много лет потом вспоминала тот ресторан и тот вечер, а утром только встали, только она себе намазала булочку маслом, а уже пора ехать, автобус на улице ждёт. но булочку она всё же с собой взяла. булочку и ещё яблоко и банан. хотела кофе налить, но ей закричали, пойдём, пойдём, и она только сока попила апельсинового из кувшина, невкусный оказался сок, растворимый, как дома, и побежала за чемоданом.

в автобусе им сказали, что планы у них изменились, в испании сейчас работы не стало, везде иммиграционная полиция, хватает и высылает всех иностранцев и в паспорт такую отметку ставит, что с нею потом десять лет в европу не пустят, а некоторых вообще сажает в тюрьму. им сказали, кто хочет, мы вам сейчас отдадим паспорт и билет, у вас поездка на пять дней, купайтесь, отдыхайте, завтракайте в гостинице, завтрак у вас бесплатный – а через пять дней вернётесь домой. а кто домой не хочет, может ехать с нами через границу в португалию, там платят поменьше, но работы много, даже чистой, в гостинице или ресторане, и берут всех без разбора, а полиция особенно не придирается, если, конечно, вести себя тихо. одна девочка сказала, что это ещё за португалия такая, я за испанию деньги платила, отдавайте, сказала, мне мою тыщу долларов, а человек из агентства сказал, а этого не хочешь, и жест неприличный сделал, я, сказал, тебя сейчас вообще в полицию сдам, скажу, что ты приехала проституцией заниматься и тебя посадят. и всех вас, сказал, посадят, навязались шлюхи на мою голову, и едут, и едут, тогда все закричали той девочке прекрати, прекрати, какая тебе разница, где работать, и она села на своё место, но лицо у неё было хмурое, и у человека из агентства лицо было хмурое, и как-то плохо началась поездка.

а она, не та девочка, что требовала вернуть ей деньги, а про которую мы с самого начала говорили, её звали людмила, лусия, а местные стали звать лусия, местные не могут выговорить лусия, это мы по-ихнему всё можем выговорить, вот эта лусия сидела у окна и ела булочку и

старалась не думать о плохом, но оно всё равно думалось, вдруг, думалось, их автобус сейчас остановит иммиграционная полиция и всех сразу вышлет, или вдруг, думалось, через границу их не пропустят, высадят из автобуса и скажут, возвращайтесь пешком, как хотите, а за окном бежали деревья странные, незнакомые, как будто освежёванные и в запёкшейся крови, и кусты, колючие даже на вид, и трава, вся пожухлая и сухая, и булочка была совершенно бесвкусная, от этого было страшно, и хотелось плакать.

лусия почти никому не рассказывала о тех временах, хотя жила не очень плохо, лучше других. на работы вместе со всеми её вообще не посылали, а взяли сразу на кухню готовить и мыть посуду. девчонки вначале смеялись, говорили, ты смотри, тебя, небось, хозяин для себя присмотрел, но хозяина никакого не было, а была хозяйка незлая, в первый же день начала учить её языку. показывала на дом, говорила каза, показывала на стол, говорила меза. лусия запоминала. вода была агва. картошка батата. ничего сложного. и ночевала она больше не со всеми, а прямо в кухне на большом таком ларе, только тюфяк на него на ночь клала и подушку и бельё постельное ей хозяйка дала. другие ходили обдирать кору с пробковых дубов, возвращались с изрезанными руками. лусия тоже иногда резалась, когда чистила картошку, но хозяйка сразу же промывала ей руку агвой, а на порез наклеивала пенсу – пластырь. лусия запоминала. по утрам она застилала хозяйкину постель, подметала, вытряхивала половики, вообще прибиралась. постель по-местному была кама. одеяло – манта. метла – васора. хозяйка была ею довольна, называла минья филья – доченька, но кухню на ночь запирала на ключ, а на случай, если лусии понадобится кое-куда, оставляла ей горшок. горшок был старинный, расписной, толстого фаянса. на нём были нарисованы пальмы, дворцы и человек на слоне, на которого напал тигр. лусия стеснялась делать на горшок и терпела до утра.

потом кончился сезон коры, приехал человек из агентства, забрал всех девчонок и деньги, которые им причитались. хотел забрать лусию, ты почему, сказал, ещё не в автобусе, а ну-ка быстро, быстро, но хозяйка не отдала. спросила кванту. это значило сколько. человек из агентства показал два пальца, сказал дос. это было неправильно, надо было сказать дойш, это лусия уже знала, а человек из агентства не знал или ему было всё равно. хозяйка стала с ним спорить, лусия вышла вначале из кухни, потом совсем из дома. к тому времени хозяйка её уже даже на ночь не запирала, только ворота, когда сама куда-нибудь уходила. у ворот на улице стоял автобус, в автобусе сидели девчонки, лица у всех были одинаковые, загорелые и без выражения. лусия испугалась. если хозяйка её сейчас не купит, ей придётся идти в автобус и садиться вместе со всеми, а она белая, она всё время по дому, ей некогда было загореть. из дому вышел человек из агентства, недовольный. сука, сказал. жадоба. за эскудо удавится. отпихнул лусию. чего выставилась, вали отсюда. девчонки без выражения смотрели из автобуса. лусия повернулась и ушла обратно в дом.

в доме лусия прожила три года, а потом пошла в полицию и написала заявление. никто от неё такого не ждал. хозяйка потом всем говорила, что иностранки неблагодарные твари. ты её селишь у себя, кормишь, поишь, учишь, относишься, как к родной, а она идёт и на тебя же и жалуется.

я познакомилась с лусией лет пять спустя, ей уже дали постоянный вид на жительство как пострадавшей от работорговли и эксплуатации, и она собиралась подавать на гражданство. жили они втроём с лавинией и надьей, снимали четырёхкомнатную квартиру, тэ три по-местному, три спальни и гостиная, тогда это ещё было не так дорого, не то что сейчас. зарабатывали они уборками. надья всё надеялась выйти замуж за местного, лавиния хотела открыть свою компанию, чтобы другие бы девочки убирали, а она бы утром развозила их по хозяевам, а вечером бы забирала и вела бы переговоры и бухгалтерию, а лусия ничего особенного не хотела. она съездила домой, отвезла матери денег и подарков, мать чуть с ума не сошла от радости, она уже такого передумала за те три года, что лусия жила у хозяйки. потом лусия вернулась сюда, скучно ей было дома и даже язык как будто какой-то чужой. не каза, а дом.

не меза, а стол. и дочка её – у лусии была дочка, лусия её матери оставила, когда поехала на заработки, – дочка лусию узнавать не хотела и пряталась под стол, когда лусия говорила ей минья филья. трудно так жить.

лавиния пыталась уговорить лусию открыть компанию с ней на паях, заработать, как следует, а потом на всё готовое перевезти мать с дочкой. у лавинии были планы, а денег не было, а у лусии были деньги, ей тогда хозяйка всё выплатила, её по суду заставили, матери лусия отвезла половину, а половину себе оставила на обзаведение и теперь тоже зарабатывала хорошо и всё время откладывала. но лусия не знала, хочет ли она компанию с лавинией, сидела вечерами, думала, вроде, и хорошо компания, а вроде и странно.

и тут на рынке мария жоау из рыбного ряда сказала по секрету, что в большом жёлтом доме за городом ищут прислугу с проживанием. прежняя, сказала мария жоау, проворовалась, её выгнали, теперь ищут кого-нибудь с рекомендациями, и чтоб с пожилыми умел. дают комнату хорошую, все удобства, еду и униформу за счёт хозяев и ещё сто двадцать тысяч эскудо. к тому времени все уже перешли на евро, но пока ещё путались, переводили мысленно обратно в эскудо, чтоб понять, много это или мало. сто двадцать тысяч плюс проживание плюс еда плюс униформа было очень много, даже трудно поверить. вечером лусия договорилась, что надья завтра её подменит на утренней уборке, утром взяла такси и поехала в большой жёлтый дом на собеседование. потом вернулась, собрала вещи, обзвонила хозяев, сказала всем, что больше не придёт. два дома отдала надье, два лавинии, а в пятом сказали, что вообще больше не хотят никаких иностранок. лавиния обиделась, что лусия решила её бросить, но потом подумала, может, и хорошо, может, лучше она кредит в банке возьмёт, а то это лусия странная какая-то, то говорила, что с проживанием никогда, хватит с неё самой первой хозяйки, а то раз – и переезжает в жёлтый дом.

после этого я не видела лусии лет пять, наверное, или шесть. надья успела выйти замуж, родить, развестись, опять выйти замуж и опять ходила беременная, а лавиния открыла свою компанию по уборке и теперь у неё уже были постоянные работники, шофёр, две машины и куча клиентов. она оказалась очень деловая, эта лавиния, про неё даже в газете написали, в разделе люди, сделавшие себя сами. о лусии ни надья, ни лавиния ничего не знали, мария жоау из рыбного ряда говорила, что видела её на рынке раз или два, но издали, а поздороваться лусия не подошла. а потом мне позвонили из прокуратуры, я в те годы иногда переводила на допросах и в суде, и спросили, есть ли у меня время подъехать прямо сейчас. время у меня было, и я подъехала и увидела лусию. знакомый следователь фонсека сказал, что её обвиняют в чём-то ужасном, вроде бы, она уморила старушку-хозяйку, просто заперла в спальне без еды и воды, а сама осталась жить в большом жёлтом доме и жила все эти годы. за продуктами ходила в ближайшую лавку, расплачивалась хозяйкиной карточкой, за свет и воду тоже, а потом внезапно приехали хозяйкины родственники откуда-то из канады, ввалились без предупреждения с детьми, чемоданами и двумя охотничьими собаками. тут-то всё и раскрылось.

я спросила у следователя фонсеки, зачем ему переводчик, если лусия говорит по-местному не хуже меня. ну прямо, сказал фонсека, вообще она не говорит, я же пытался с ней разговаривать. спроси, спроси её по-вашему, понимает ли она, что происходит. лусия, сказала я по-нашему. лусия, ты что, ты зачем это. ты что, правда всё это сделала, зачем, лусия, зачем.

каза, сказала лусия и засмеялась. каза. меза. минья филья.

Заказывать будете

я шла домой через левую арку, у нас во дворе их четыре, вернее, три, левая на въезд, правая на выезд, а средняя – самая неприятная, – на въезд и выезд сразу, но я через неё не хожу, ночью там нехорошо, так, вроде, и не скажешь, что именно нехорошо, а нехорошо – и всё, даже хуже, чем нехорошо, откровенно плохо ночью в средней арке, страшно и пахнет скверно, и с перекрытий капает что-то мутное и липкое, попадёт на одежду – ни за что не отстираешь, а если на голову – волосы лучше сразу сбрить, иначе они потом всё равно вылезут, хотя, может, и не вылезут, может, это ерунда и сказки, я лично никого не знаю, чтобы у него волосы вылезли оттого, что на них капнуло с перекрытий в средней арке, хотя, с другой стороны, я вообще никого не знаю, чтобы на него капнуло с перекрытий в средней арке, там капает только ночью, а ночью в среднюю арку никто не суётся, даже на машине, и вот я шла домой через левую арку, время было чуть за полночь, не так чтоб очень, может, четверть первого или около того, но вокруг никого не было, народ теперь на улицу и днём без острой нужды не выходит, а ночью, в комендантский час, и по нужде не выйдет, хи-хи, простите, это я немного нервничаю, я всегда, когда нервничаю, хихикаю, кстати, когда я шла, я не очень нервничала, так, слегка, потому что ночь, комендантский час, а я без документов, мало ли, патруль, там, или ещё что, хотя, какой патруль, они ночами тоже не выходят, одно название, что патруль, сидят в отделении или в машине на стоянке, радио слушают, в карты играют, а так, чтобы выйти проверить, не нарушает ли кто-нибудь комендантский час, не идёт ли без документов домой через левую выездную арку – это их никогда нету, только если им позвонит кто и донесёт, и вот я иду домой через левую выездную арку, время – четверть первого ночи или даже половина, может, без двадцати час, и тут слышу вдруг голос, и будто бы даже не один, а два или три.

я, конечно, остановилась, хотела прижаться к стене, но подумала, что не надо, арка внутри выкрашена в яичные цвета, белое и жёлтое, полосами, а я вся в чёрном и фиолетовом, прижимайся-не прижимайся, на белом и жёлтом будет видно, так что, я прижиматься к стене не стала, а просто повернулась и посмотрела, кто там разговаривает, хотя голоса были довольно далеко, и, наверное, не останавливаться надо было, а, наоборот, прибавить шагу, чтобы выйти из арки, потому что, как выйдешь из арки, до моего дома рукой подать, метров, может, сто, а может, и того меньше, но я шагу не прибавила, а остановилась, не знаю, почему, мне даже интересно не было, подумаешь, разговаривают, но я остановилась и посмотрела, и никого не увидела. никогошеньки. и голоса звучат.

тут бы мне повернуться к выходу и быстро бежать домой, что такое, в сущности, голоса, мне до дома осталось сто метров, приду, вымою руки, брошу одежду обеззараживаться, душ приму – и пожалуйста, могу радио включить тихонько, чтобы не разбудить соседей, и слушать себе голоса, сколько захочу, и, главное, я ведь не люблю по ночам голоса слушать, мне от голосов ночами тревожно, я ночами, наоборот, люблю, чтобы было тихо, совсем тихо, как под подушкой, я бы даже спала в таких специальных наушниках, чтобы не слышать ночью никаких голосов, если бы их не запретили в прошлом году, наушники, потому что в них не слышно, если вдруг сигнал тревоги или ещё что, но я даже после запрета ими пользовалась, а потом их у меня конфисковали, соседи донесли, что я пользуюсь, ну, пришёл патруль и конфисковал, штраф тоже выписали, да я не платила, сейчас никто штрафов не платит, и я платить не стала, тем более, они мои наушники унесли, хорошие, дорогие наушники, в пять раз дороже штрафа.

в общем, я не пошла почему-то к выходу из арки, а развернулась и пошла ко входу, к голосам, хотя знала же, что это может быть патруль, или, например, соседи вышли на балкон покурить, увидят меня и донесут, что я в час ночи выхожу из арки, они же не знают, что это я домой иду, а хотя бы и знали, всё равно донесут, они у меня принципиальные, лучшие соседи района, с доски почёта не слезают, не сами, в смысле, а имена их, и вот я знаю это – и всё

равно иду ко входу в арку, нервничаю, а иду, а голоса всё приближаются, я уже слышу, что их три – мужской, женский и ещё третий, и даже уже понятно, что это никакие не соседи, у соседей моих такого третьего голоса нету, а этот я слышу так отчётливо, и мужской слышу, и женский, и вот я выхожу из арки в противоположную сторону, в темноту выхожу, в полвторого ночи, и голоса приближаются, приближаются, и вдруг налетают на меня, все три, и ничего мне не делают. просто налетели и полетели дальше, будто меня нету, будто я им совсем не помеха, не препятствие никакое, не человек живой вышел в темноту из арки в комендантский неположенный час, будто на меня можно просто налететь и, не остановившись лететь дальше, и мужской голос при этом говорил, вот опять то же самое, ведь то же самое, ведь каждый день одно и то же, сколько же можно, в самом-то деле, а женский голос говорил, я бы с тобой согласилась, если бы ты был прав, когда ты прав, я всегда соглашаюсь, но ведь ты неправ, ведь я тебе объяснила, что ты неправ, и ты сам знаешь, что неправ, а третий голос говорил, заказывать будете? заказывать будете?

Успела

чёрная собака – молоденькая, беспородная, но благородных пропорций сука, изящная, стремительная и длинноногая, будто наэлектризованная своей молодостью, силой и восторгом бытия – ни секунды не может постоять на месте, подпрыгивает, пританцовывает, даже остановившись по команде, вся вздрагивает до кончика высоко вскинутого, тонкого и упругого, будто хлыст, хвоста, – бежит за розовым верёвочным мячом, только что улетевшим в кусты. находит, приносит, но хозяину не отдаёт, а валится в траву и, хохоча молодой белозубой пастью, принимается мяч кусать и терзать, и хозяин хохочет вслед за ней, а за ним и хозяйка, и, не зная ещё, что такого смешного произошло, просто радуясь тому, что всем весело, хохочут дети, мальчик и девочка, мальчик помладше, тёмненький, в отца, смеётся взхлёб, закашливается и оттого смеётся ещё сильнее, постаршая девочка, золотистая, как мать, заливается колокольчиком, а с третьего этажа, с балкона, забранного удобной страховочной сеткой, посмеивается, на них глядя, дымчатая голубоглазая кошечка с розовым носиком, посмеивается и чешет свой розовый носик о ячейки сетки, закидывает аккуратную дымчатую головку, показывая белое горлышко, белую грудку, и ещё веселей хохочет собака, перевернувшись на спину и болтая всеми четырьмя длинными, сухими, как у борзой, ногами, и ты смотришь на это, не в силах оторваться, и любишь эту незнакомую собаку, и эту незнакомую семью, и эту незнакомую, но будто бы уже где-то виденную кошечку с розовым носиком, любишь их всех, исходя на горячее умиление, любишь так, что в груди печёт, и жжёт глаза, и все они, вся эта образцовая семья, взрослые, дети, животные, будто бы расплываются от слёз, или не от слёз, а оттого, что это и не семья вовсе, не собака, не кошка, не люди, а обманка, игра бликов и пятен на крыле огромной жуткой твари, пока ты тут умиляешься, замороженный рисунком на её крыльях, она не сводит с тебя фасетчатых, ничего не выражающих глаз и уже примерилась к тебе жалом – она не станет тебя есть, она не любит кисло-сладкого, жидкого, пузырящегося, но дети, надо думать о детях, в таких, как ты, лучше всего выводить детей, и, в общем, ты извини, мы прощаемся с тобой, ты славный, ты чувствительный, с тобой было бы интересно познакомиться поближе, но тебя уже не спасти, и лучше мы не будем смотреть, что будет дальше, потому что дальше будет очень неприятно.

ну, куда же ты подевался, визгливо выговаривают тебе, чёрт знает, что, договорились на полпятого, жена ему звонит чуть не полчаса, кричит, обегала весь квартал, а этот чурбан тут стоит, пялится куда-то, перед людьми стыдно, и ты кривишься болезненно и думаешь, господи, что же это, как же ты допустил, как же я допустил, где была моя голова, когда я связался с этим скандальным чудовищем, ты чуть не плачешь, нет, ты плачешь и смаргиваешь слёзы, потому от её голоса в который уже раз вдребезги разбилось что-то чудесное, что-то уже почти вобравшее тебя, и ты думаешь, всё, хватит с меня, сегодня уже соберу вещи и уйду, не могу больше, не хочу, а она, сварливо зудя, тащит тебя прочь и думает, успела, подумать только, всё-таки успела.

Сеньор Луис

конечно, это был сеньор Луис, это просто не мог быть никто другой. вот сами смотрите – всего нас в правлении десять человек. во-первых, я. во-вторых, Мария Рита из десятого номера, я за ней сама зашла, она и маску при мне надевала, значит, я да Мария Рита – это нас две. потом дона Филомена с пятого этажа, там у неё сразу три квартиры, она их объединять хочет. у доны Филомены одна нога короче другой, она носит ужасный ортопедический башмак и страшно стучит им при ходьбе, дону Филомену ни с кем не спутаешь даже в костюме и маске. это три. четыре – бабуля Гиомар из пристройки. бабуле Гиомар сто пятнадцать лет, но голова у неё светлая и замечания её всегда по делу. бабуля Гиомар обезножела ещё в две тысячи пятом, а защитную накидку надевает прямо на электрическое кресло-каталку. пять и шесть – близнецы Пайва из восьмого «а» и восьмого «б», они всегда ходят вместе и говорят хором. семь – это доктор Перейра из шестого «а», педиатр. у неё пижама в мишках, шапочка в мишках, а на маске нарисован мишечий нос, чтобы дети не так пугались, только они всё равно пугаются. ещё есть Селина из третьего, у Селины бас и такие усы, что на них любая маска топорщится, даже самая плотная, Мария Рита однажды достала Селине противогаз – у неё и противогаз на усах топорщился. Селина – это восемь. девять – это наш лифтёр, Шико, у Шико две головы, попробуй его с кем-нибудь спутай. ну, и десять – сеньор Луис. у сеньора Луиса нет особых примет, но если вычесть меня, Марию Риту, дону Филомену, бабулю Гиомар, доктора Перейру, близнецов Пайва, Селину и Шико, останется только сеньор Луис, значит, это был сеньор Луис, это просто не мог быть никто другой. он пришёл вместе со всеми, сел у стола вместе со всеми, места специально не выбирал, сел, где было свободно, отчёт за прошлый год смотрел вместе со всеми, бабуле Гиомар бутылку воды передал, когда бабуля его попросила, защитную накидку ей придержал, потом бутылку на стол поставил, чтобы бабуле из-под накидки не высываться. лифт обсуждал вместе со всеми. сказал, что у него замечаний нет, лифт ходит строго по расписанию – он так и ходит, всегда так ходил, это Селина вечно недовольна, что лифт-экспресс на её этаже не останавливается, пусть бы сказала спасибо, что обычный рейсовый останавливается, в других домах лифты до пятого ходят без остановок, чтобы уменьшить риск заражения, но этой Селине только бы поскандальить и она вечно мутит воду. про воду сеньор Луис тоже сказал, что у него нет замечаний, но тут были замечания у меня и Марии Риты, потому что воду дают только по вечерам на два часа, а мы вечерами работаем и не успеваем ни мыться, ни чай пить, и тогда он сказал, что него нет возражений против наших замечаний, кто бы ещё так сказал кроме сеньора Луиса? потом дона Филомена собиралась обсудить предложение бабули Гиомар сделать бабуле рампу ко входу в основной подъезд, чтобы когда собрание, бабуле не приходилось бы колесить по коридорам или ждать, чтобы кто-нибудь вкатил её к нам, но тут встрял Шико и стал требовать второй зарплаты, потому что у него, видите ли, две головы, значит, он работает за двоих, а дона Филомена сказала, что он и за одного не работает, а доктор Перейра сказала, что нельзя ли побыстрей, потому что она с работы и хотела бы отдохнуть, а Мария Рита сказала, что вон у Селины бородавка на носу, что же, Селине тоже теперь полагается зарплата за бородавку, а Селина тогда сказала такое, что доктор Перейра вскочила и сказала, что никому не позволяет при ней так выражаться, и пусть Селина выйдет вон, а Селина сказала да пошла ты, тоже мне цаца, а Шико сказал, что пусть тогда не стучатся к нему среди ночи, если лифт не работает, потому что за ночное дежурство у него отвечает вторая голова, а бесплатно она дежурить не нанималась, а близнецы пихали друг друга в бок и бабуля Гиомар кудахтала под накидкой, и тогда сеньор Луис сказал, что он очень просит уважаемое собрание его простить, но всё, за чем он пришёл на заседание правления, он уже выполнил, и теперь его ждут в другом месте. встал, поклонился доне Филомене, доктору Перейре, нам с Марией Ритой, Селине тоже, хотя Селина, хабалка такая, вовсе не заслуживает,

чтобы ей кланялись, отдал вроде как честь близнецам Пайва и Шико, а у бабули Гиомар приподнял защитную накидку и поцеловал бабулину сухонькую лапку в перчатке, потом взял из-за двери косу и вышел, а мы остались. а чойта он с косой, спросила Селина. не чойта, сказали близнецы Пайва, а почему, и когда вы, Селина, научитесь говорить правильно. а ты меня не поправляй, сказала Селина и сплюнула из-под маски, поправляльщик нашёлся, двойника своего поправляй! ну, и конечно, опять все завелись и кричали, особенно Шико в две глотки, а дона Филомена стучала кулаком по столу, доктор Перейра запустила в Селину бутылкой воды, близнецы Пайва подрались с Шико, мы с Марией Ритой тоже немножко поругались, только бабуля Гиомар совсем притихла у себя под накидкой, но, как я уже сказала, бабуле Гиомар сто пятнадцать лет, и она иногда засыпает прямо посреди заседания.

Уж как-нибудь

поначалу это были просто мокрые следы. они неожиданно появлялись то на балконе, то в коридоре, то в кухне под столом, маленькие подсыхающие лужицы, круглые и безобидные. Фонсека Фонсека, бывшая жена Фонсеки, безропотно их вытирала, она была рассеянной и думала, что, должно быть, сама что-нибудь пролила и не заметила. собака Розалия Давыдовна отнеслась к мокрым следам с некоторым подозрением – один раз она понюхала лужицу на балконе, другой раз на кухне, – лужицы пахли водой, но не такой, как из миски, вода в миске была смиренная, ручная, а вода в лужицах была какая-то нездешняя, беспокойная. но всё равно это была вода. Розалия Давыдовна на всякий случай сделала язык ковшиком и лакнула лужицу. лужица была маленькая, и Розалия Давыдовна не сумела её распробовать, где-то внутри языка-ковшика возникло тревожащее чувство, и о нём следовало бы, наверное, подумать, но Фонсека Фонсека позвала обедать, а на обед был борщ. потом Розалия Давыдовна ушла к себе на матрасик усваивать борщ. думать после борща было вредно, борщ мог не усвоиться и начать бродить внутри Розалии Давыдовны, причиняя Розалии Давыдовне неудобства известного характера, поэтому Розалия Давыдовна велела себе о лужицах забыть, и немедленно забыла. с тех пор, когда дома появлялись лужицы, Розалия Давыдовна старалась их огибать, чтобы не вспомнить и не начать думать. Розалия Давыдовна была чрезвычайно длинная и гибкая собака, у неё великолепно получалось огибать лужицы, даже когда их стало много. Розалия Давыдовна между ними змеилась.

потом пришёл запах сырости. он не был затхлым, как в погребке или подъезде, вымытом серой, никогда не просыхающей тряпкой, это была остренькая морская сырость, в ней угадывались йод и соль, и водоросли, и даже немного рыбы и чаек угадывалось в этой сырости. Фонсека Фонсека была бы не против, она любила соль и йод, но от морской сырости у неё начали опухать и болеть колени. Розалия Давыдовна тоже была бы не против, ей нравилось валяться в водорослях и рыбах, но она побаивалась чаек. к тому же, ей стало казаться, что водорослями и рыбами пахнет её матрасик, и Розалия Давыдовна теперь всякий раз придирчиво обнюхивала матрасик, прежде чем на него лечь.

потом в дом пришло какое-то и стало шнырять перед носом у Розалии Давыдовны. Фонсека Фонсека думала, что это мухи и гоняла их полотенцем, но какое-то будто издевалось – стоило Фонсеке Фонсеке опустить полотенце, оно снова появлялось и шныряло, взблёскивая и переливаясь, и доводило Розалию Давыдовну до белого каления. один раз Розалия Давыдовна не выдержала, щёлкнула зубами и тут же завизжала – какое-то ужалило её в язык. Фонсека Фонсека бросилась на помощь. Розалия Давыдовна плакала, вывалив язык и пытаясь дотянуться до него коротенькими лапками, а на полу быстро таяла маленькая перекушенная пополам медуза.

после этого, будто прорвался давно набухавший пузырь. во всех углах теперь росли водоросли. как ни пыталась Фонсека Фонсека их вывести, чем их ни поливала, они вырастали всё крепче и гуще, только цвет меняли. от хлорки они синели, от жидкости для чистки труб – багровели и становились полупрозрачными, но продолжали расти и уже вышли из углов. на стенах снизу доверху выступили соляные дорожки, в воздухе мельтешили косяки мелких рыбок и неприятно бойких медуз. рыбки, как выяснилось, страшно любили хлеб с сыром, и буквально лезли под руки Фонсеке Фонсеке, когда она пыталась сделать себе бутерброд. если Фонсека Фонсека долго не делала бутерброда, рыбки начинали виться вокруг неё, щипали за шею и за уши, гнали к холодильнику и кухонному столу. наглые, как второгодники, медузы отнимали еду у Розалии Давыдовны. что бы ни положила Фонсека Фонсека в Розалии Давыдовнину миску – хоть борща, хоть макарон по-флотски, хоть сухого собачьего корма из большого пакета, – медузы вырывали миску у Фонсеки Фонсеки из рук и мгновенно сжирали всё, что

там было, так что, Фонсеке Фонсеке пришлось тайно кормить Розалию Давыдовну в ванной – это была единственная комната с запирающейся дверью, и пока Розалия Давыдовна торопливо ела, медузы с размаху бились о дверь.

зато спала Фонсека Фонсека как никогда. в спальне пахло йодом и солью, легчайший бриз веял даже при закрытых окнах, и неизвестно откуда доносился умиротворяющий шорох волн и цокот по миллиардов крохотных лапок по мокрому песку. Фонсека Фонсека спала, и сны её были почти невыносимо прекрасны, иногда ей всерьёз казалось, что однажды она не проснётся, что сердце просто разорвётся от этой красоты и счастья. но сердце у Фонсеки Фонсеки было крепкое и не разрывалось, только Фонсека Фонсека стала меньше гулять с Розалией Давыдовной и всё раньше ложилась спать, торопливо покормив Розалию Давыдовну в ванной. Розалия Давыдовна глядела на Фонсеку Фонсеку укоризненно, тянула к двери, Фонсека Фонсека чувствовала себя виноватой, бралась за поводок, но путь к двери лежал мимо дивана, и Фонсека Фонсека падала и засыпала, не выпуская из рук поводка, и мелкие рыбки зависали над ней, синхронно повиливая хвостиками.

Фонсека Фонсека проснулась от душераздирающего воя. была Розалия Давыдовна и вой её был страшен, будто Розалию Давыдовну едят. ещё не до конца стряхнув с себя прелестный хрустальный сон, Фонсека Фонсека соскочила с кровати бежать на помощь – и оказалась по пояс в холодной воде. от неожиданности она завизжала – от этого визга Розалия Давыдовна перестала выть и залаяла, – и ринулась прочь из спальни. ноги проваливались в мокрый песок, оскальзывались на водорослях, что-то обмоталось вокруг щиколотки, что-то, примериваясь, ущипнуло за голень, что-то отвратительное коснулось бедра – взвизгнув ещё раз, Фонсека Фонсека рванулась, упала плашмя в воду и саженками поплыла в гостиную. в гостиной вода необъяснимым образом стояла ещё выше, – или она так быстро прибывала, – даже спинки дивана уже не было видно, только плавала лёгонькая банкетка, а на банкетке заливалась лаем неведимая Розалия Давыдовна.

в дверь вначале позвонили, потом постучали, потом замолотили кулаками и, вероятно, ногами, судя по шлёпающим звукам – босыми. Фонсека, бывший муж Фонсеки Фонсеки, всклокоченный и ещё не вполне проснувшийся, дрожащими от спешки и непонимания руками открыл замок, рванул дверь на себя. на пороге стояли бывшая жена, мокрая и разутая, в одной ночной рубашке, и сухая Розалия Давыдовна без поводка. мы, сказала бывшая жена. у нас там. и зарыдала. Розалия Давыдовна тихонько подвыла.

конечно-конечно, сказал Фонсека бывший муж, когда сухие и переодетые они все сидели на кухне и пили по третьей чашке кофе. Розали Давыдовна от кофе отказалась, съела два бутерброда с сыром и колбасой и спала, вытянувшись на двух снятых с дивана подушках. конечно, сказал Фонсека, его квартира – их квартира, пожалуйста, сколько угодно. он и сам, сказал Фонсека, давно уже собирался пригласить их с Розалией Давыдовной погостить, сколько им захочется. услышав своё имя, спящая Розалия Давыдовна приподняла хвост и два раза благодарственно шлёпнула им по диванной подушке. а как же моя, спросила Фонсека бывшая жена и шмыгнула носом. моя квартира как же? там ведь всё. вообще всё. вот просто вообще всё-всё-всё. ну, сказал Фонсека, стараясь, чтобы его голос звучал как можно уверенней, как-нибудь. воздух слегка пах солью, йодом, водорослями и почему-то борщом. уж как-нибудь, сказал Фонсека.

На четвёртом этаже

приехали ночью, когда все спали, вселились тихо, будто просочились, будто прошептали, ни одна дверь не стукнула, ни одна половица не проскрипела, ни одна живая душа не проснулась, только на шестом этаже взвыла во сне собака Розалия Давыдовна на матрасике у постели Фонсеки Фонсеки, взвыла – и тут же замолчала, потому что Фонсека Фонсека, не просыпаясь, высунула из-под одеяла тёплую руку и успокаивающе погладила Розалию Давыдовну по кожаному носу и бархатным ушам. а утром, когда все встали, оказалось, что четвёртый этаж, пустовавший последние лет тридцать, весь заселён.

первыми об этом узнали дети, когда собрались после завтрака играть там в прятки. дети очень удивились. дети не поверили глазам. никогда прежде не видели они людей на четвёртом этаже, если не считать уборщиков в комбинезонах и пылезащитных масках. уборщики приходили тридцатого числа каждого месяца, поднимались на грузовом лифте-экспрессе, отпирали запертые двери, подметали пустые квартиры, мыли чистые стены и уходили, а эти, новые – по всему было видно, – вселились, чтобы жить, и дети разбежались по своим этажам рассказывать родителям, что на четвёртом этаже живут теперь люди, должно быть, цыгане, должно быть, мавры, видимо, индусы, а маленькая Санча, племянница доны Филомены с пятого этажа, крикнула папуасы, но потом застеснялась и не стала повторять. все дети сходились в том, что новые жильцы одеты в чёрное, что их мужчины носят шляпы и усы и кожаные жилеты, а женщины укутаны в покрывала, что кожа у них тоже скорее тёмная, но не чёрная и не коричневая, а какая-то будто зеленоватая, но это неточно, потому что за ночь кто-то опять выкрутил на четвёртом этаже половину лампочек, и теперь там почти совсем темно. и страшно, вставила маленькая Санча, и опять застеснялась и больше уже не раскрыла рта до вечера.

спешно собранный домовый комитет постановил как можно скорее отправить на четвёртый делегацию, чтобы посмотреть на новых жильцов и ознакомить их с правилами поведения в доме и расписанием лифтов. в делегацию вошли сеньор Луис, близнецы Пайва и двухголовый Шико, лифтёр, а с ними Фонсека Фонсека на случай, если женщины новых жильцов не станут разговаривать с мужчинами из домового комитета, и собака Розалия Давыдовна – просто из любопытства. делегация собралась внизу у лифтёрской и поехала на четвёртый этаж на грузовом лифте-экспрессе. Розалию Давыдовну, чтобы её не затоптали, Фонсека Фонсека держала на руках, и Розалия Давыдовна шумного обнюхивала затылки низкорослого Шико – то правый, то левый. Шико морщился, но терпел – ему нравилась Фонсека Фонсека, и он надеялся добрым отношением к животным снискать её благосклонность.

на четвёртом этаже лифт-экспресс остановился, но двери не открыл, замигал всеми лампочками и пошёл дальше. прошёл мимо пятого, мимо шестого, затормозил было на седьмом, но не остановился и снова стал подниматься, пока не

стал на десятом, у квартиры Марии Риты, постоял – и ринулся вниз. напрасно Шико нажимал на все кнопки, лифт ехал без остановок, всё быстрее и быстрее, – и вдруг стал, да так неожиданно и грубо, что все повалились друг на друга и сеньор Луис прикусил язык и от неожиданности гавкнул, а собака Розалия Давыдовна грозно зарычала. двери открылись, и делегаты вышли на первом этаже у лифтёрской. может, по лестнице, может, по очереди на маленьком со всеми остановками, хором спросили близнецы Пайва. может, не надо, спросил трусоватый Шико. пусть живут без расписания. а сеньор Луис просто махнул рукой – у него сильно болел прикушенный язык.

с тем и разошлись.

правда, Фонсека Фонсека три раза потом пыталась пройти на четвёртый этаж по лестнице, но на лестнице тоже кто-то выкрутил лампочки, и Фонсека Фонсека, хоть и считала ступеньки, всякий раз сбивалась со счёта и оказывалась то на третьем, то на пятом. и близнецы

пайва пытались приехать на четвёртый этаж маленьким лифтом со всеми остановками, но лифт проезжал четвёртый, как если бы был экспрессом. сеньор Луис – тот сам не ходил, а вызвал на днях полицию, сказал, что на четвёртом этаже шумят после двадцати трёх часов и что-то жгут. полиция приехала, но не нашла входа в наш подъезд, и уехала. такое часто случается, никто в этом не виноват.

только дети продолжают бегать на четвёртый этаж каждый день после завтрака, бог весть, как они это делают. им уже и запрещали, и ругали их, и оставляли без сладкого и без игрушек, но они всё бегают и бегают, и возвращаясь, рассказывают, что те жильцы разбили в квартирах шатры, что в коридорах у них растёт трава, а на лужайке перед лифтом пасутся лошади. и ослик, всегда добавляет маленькая Санча. дона Филомена один раз в сердцах отвесила ей два подзатыльника: один за враньё, и второй – за то, что довела родную тётку до греха гневливости. потом, конечно, плакала и напекла Санче печенья с изюмными глазками, а Санча кормила печеньем собаку Розалию Давыдовну и рассказывала ей об ослике – какой он коричневый и серый, какой смешной у него хвост с кисточкой, а уши – точь-в-точь, как у Розалии Давыдовны, только серые, остроконечные и стоймя. Розалия Давыдовна, деликатно ела печенье из санчиных рук, а сама думала – ослик ещё какой-то с ушами стоймя, выдумают же люди такую глупость.

Бабуля Леонильда

а всёжтки никто не умер, сказала дона лурдес, откусывая нитку. ей хотелось быть доброй и справедливой. на утренней проповеди пастор назвал её примером для всей деревни. он сказал не прямо, но дона лурдес поняла, потому что пастор говорил о людях, стойко переносящих горести. эти люди, сказал пастор, его лицо на экране слегка подёргивалось и расплывалось, эти люди достойно несут свой крест. они пример для всей нашей деревни. дона лурдес знала, что пастор имел в виду её, дону лурдес, и от этого ей хотелось быть доброй и справедливой и нести свой крест достойно. после чая она разрезала пополам новый передник в утятах и ромашках и стала шить маски для себя и для фернандо. фернандо после обеда вышел во двор наточить вилы. иногда он заглядывал в дом, чтобы посмотреть на свою маску в утятах и ромашках. ему хотелось, чтобы с двух сторон были утята, а ромашки посередине, но он стеснялся сказать об этом доне лурдес. наточив вилы, он опять заглянул и потряс вилами у доны лурдес над головой. наточил, сказал он. острые, хоть рыбу лови. пусть теперь только выздоровеет и явится. вот пусть только явится. а всёжтки, сказала дона лурдес, всёжтки никто не умер. на-ка, примерь маску.

сестра аморинь курила в воротах. правилами запрещалось курить в лечебнице и выходить на улицу в форменной одежде, поэтому сестра аморинь стояла наполовину внутри – наполовину снаружи и выпускала дым за ворота.

он парнишка-то уважительный, сказала сестра аморинь и выпустила за ворота колечко дыма, она умела выпускать дым колечками. вот уважительный и уважительный. вот если кто уважительный парнишка, так это он. ты вот меня спроси, сестра аморинь выпустила за ворота ещё одно колечка, спроси меня – кто из наших местных уважительный парнишка, и я тебе сразу скажу – фонсеков парнишка уважительный, вот уважительней уважительного.

уважительный-уважительный, а стариков своих заразил, сказала практикантка тининья. сестра аморинь приходилась ей тёткой, и тининья не боялась ей возражать. сеньор фернандо хочет его за это вилами колоть, пусть, говорит, только выздоровеет и явится, вот пусть. сестра аморинь бросила окурочек на землю и пошаркала по нему форменным резиновым ботом. да ну, сказала она. ещё чего – колоть. никто ж всё-таки не умер. а бабуля леонильда? спросила практикантка тининья.

дона лурдес в новой маске в утятах и ромашках стояла у полок с консервами в полутора метрах от прилавка. утята на её маске были посередине, а ромашки по краям, а у фернандо наоборот. за прилавком ходил туда-сюда сеньор пинто, вместо маски он обмотал лицо шерстяным клетчатым шарфом. в шарфе было жарко, и сеньор пинто сильно потел. а я ему говорю, говорила дона лурдес, я ему говорю, ну что ты такое говоришь, говорю я ему, что ты говоришь, фернандо, ведь никто ж не умер, дайте мне, сеньор пинто, пожалуйста, вон ту головку сыра. сеньор пинто взял вон ту головку сыра и, не выходя из-за прилавка, показал её доне лурдес. дона лурдес покивала, но с сомнением. сеньор пинто взял другую головку сыра, по виду совершенно такую же. нет, сказала дона лурдес, обойдёмся покуда, взвесьте мне, пожалуйста, вон той кровяной колбасы. сеньор пинто утёр платком мокрый лоб. вы очень красный, сеньор пинто, сказала дона лурдес, отступая вглубь лавки примерно на метр, вы не больны ли. нет, сказал сеньор пинто, из-за шарфа его голос звучал глухо и странно.

практикантка тининья помогла сестре аморинь уложить бабуль поспать после обеда, подоткнула всем одеяла, стараясь не смотреть на пустую койку у окна, два раза спела в третьей палате песенку про коварного жоанзиньо, и теперь сидела в потёртом плетёном кресле в комнате отдыха и ждала, пока закипит мятый жестяной чайник со свистком. чайник присвистнул и одновременно с ним присвистнул тининьин телефон. тининья встала с кресла и сдёрнула свисток с носика чайника. телефон снова присвистнул. заткнись, сказала тининья телефону.

замолчи. я с тобой не разговариваю. ты своих стариков заразил и бабулю леонильду мы из-за тебя потеряли.

конечно, дона лурдес, вы совершенно правы, в пятый раз сказал пастор родриго файя, стараясь не думать о мучительно зудящих руках. у пастора родриго была аллергия на латекс, руки после одноразовых перчаток распухали и чесались. на экране лицо доны лурдес в новой маске расплывалось и слегка подёргивалось. конечно, мы должны уметь прощать, сказал пастор родриго файя в подёргивающееся лицо в утятах и ромашках. руки зудели так, что пастору хотелось завывать. конечно, мы должны, дона лурдес, вы всё правильно говорите.

сеньор пинто вытащил градусник из подмышки. тининья, сказал сеньор пинто слабым голосом, посмотри, доча, сколько у меня там. тридцать семь и шесть, сказала практикантка тининья испуганно, да ты заболел. сеньор пинто заплакал в шарф. я так и знал, сказал он горестно. так и знал, что фонсеков щенок начихал у меня в лавке. тининья выскочила из комнаты. хлопнула дверь. со двора послышался тининьин голос, тоненький и злобный. вот только выздоровей, кричала тининья. только выздоровей, скотина, и явись сюда, я тебя лично убью. сеньор пинто на цыпочках подошёл к окну и выглянул в него. тининья отвела телефон от лица и грозила в экран кулачком. сеньор пинто покивал и размотал, наконец, шерстяной шарф.

и сеньор пинто заболел, бедолага, сказал фернандо, поглаживая рукоятку вил. а ты говоришь прощать. это не я говорю прощать, сказала дона лурдес, выкраивая из скатерти в розах новый передник. это пастор родриго файя говорит. люди, достойно несущие свой крест, говорит пастор родриго файя, должны уметь прощать. но сеньор пинто-то заболел, сказал фернандо. и бабулю леонильду мы потеряли.

сеньора пинто забрали в больницу в среду, а в пятницу он вернулся. вместе с ним вернулись фонсеки, фонсеков сын и бабуля леонильда в кружевной ночной сорочке и шляпе с пером. где они её нашли, спросила практикантка тининья у сестры аморинь, когда сестра аморинь вышла покурить в воротах. сестра аморинь выпустила за ворота одно за другим три колечка дыма. а она к ним явилась. услышала, что парнишка заболел, села на автобус и поехала за ним ухаживать. она его любит, парнишку-то, потому что он уважительный. я же тебе говорила, что он уважительный или не говорила. говорила, сказала практикантка тининья. в кармане у неё свистнул телефон. нечего, сказала сестра аморинь, нечего. после работы наговоритесь. иди проверь, все ли там на месте, в третьей палате.

Очередь

очередь была длинная, но тихая и даже какая-то заторможенная – чтобы не уснуть на посту, охранник в чёрном придумал щипать себя через костюм за бок, но резина костюма была толстая и никак не получалось ухватиться, только лопнула перчатка на большом пальце и тут же низко и хрипло взвыла сирена. охранник попытался незаметно натянуть поверх испорченной новую перчатку, но уже с потолка опускалась палатка дезинфекции, а из комнаты отдыха, поправляя на боку сумку противогаза, бежал сменщик. сонная очередь вздрогнула, заволновалась, кто-то что-то спросил сипловатым от долгого молчания голосом, кто-то слегка двинул тележкой, взвизгнули застоявшиеся колёсики, кто-то с шумом отодрал липкую ленту, прижимающую рукав к перчатке, и принялся переклеивать поудобнее.

именно этот момент выбрала анинья перес, чтобы почесать под резиновым капюшоном мучительно зудящую голову. из-под капюшона выглянула прядка бледных волос. вы с ума сошли, сказал сменщик охранника, немедленно спрячьте – он хотел сказать волосы, но не сказал и гулко кашлянул в маску противогаза. у вас красивый голос, сказала анинья перес, в противогазе редко бывает, чтоб красивый голос. у вас тоже красивый, сказал сменщик охранника. неправда, сказала анинья перес, у меня голос самый обычный. к тому же, у меня респиратор. бледная прядка поблескивала в электрическом свете. всё-таки вы спрячьте, сказал сменщик охранника и опять не смог сказать волосы, нельзя же. вас так не впустят. вы не впустите, спросила анинья перес. сменщик охранника гулко закашлялся.

на следующий день очередь выглядела поживей. кто-то переговаривался негромко, кто-то нетерпеливо елозил тележкой. анинья перес помахала рукой сменщику охранника и сменщик охранника помахал ей тоже. охранник в чёрном после вчерашней дезинфекции на работу не вышел, прислал по электронной почте справку от врача. как ваши дела, человек с красивым голосом, спросила анинья перес. какие ещё дела, смутился сменщик охранника и подумал о бледной прядке, как она блестела в свете ламп.

у меня для тебя что-то есть, сказала через три дня анинья перес. они уже были на ты. что, спросил, сменщик охранника. очередь вокруг них болтала и смеялась, какой-то ребёнок в респираторе в виде кроличьей мордочки и в резиновом капюшоне с ушками прыгал туда-сюда то на одной, то на другой ножке. потом узнаешь, сказала анинья перес и сунула что-то ему в перчатку.

вечером сменщик охранника снял в раздевалке перчатку и вынул из неё завернутую в бумажку бледную прядку. ты что, закричал охранник в чёрном, он первый день вышел на работу и только собирался надеть противогаз. голос у него был противный, как скрип тележных колёсиков. ты с ума сошёл, выкинь сейчас же! сменщик охранника снова завернул прядку в бумажку и сунул в обратно перчатку. на выходе из раздевалки на него опустилась палатка дезинфекции.

ничего, сказал врач, ещё немножко будет тошнить, но к утру должно пройти. если не пройдёт, звоните. дать вам освобождение от работы на денёк-другой? сменщик охранника подумал и отказался.

а я бы согласилась, сказала позже анинья перес. раз всё равно тебе по закону полагаются эти дни. пусти-ка меня к стене, а то я вчера чуть не свалилась. да ну, сказал сменщик охранника, трогая бледные аниньины волосы. я лучше вообще оттуда уволюсь. ну, лучше так лучше, непонятно сказала анинья. сейчас давай спать, ладно? завтра мне рано в очередь.

Бывает в жизни рыба

говорю тебе, он с детства такой, с придурью, кому и знать, как не мне, мы с ним вместе росли, он некровный мне, но вроде родни. мамаша его, тётка Тонинья, постоянно просила, Зе, просила, – это я, значит, Зе, – Зе, поищи моего недоумка, он опять куда-то с самого утра умёлся. если найдёшь, приведи, я тебе пирога дам, или, там, леденца. я, конечно, шёл, дураков нет отказывать тётке Тонинье, не из-за пирогов и леденцов, пироги были как пироги, у моей матери не хуже, а леденца она ни разу не дала, только обещала, а оттого, что язык у неё был до пояса, верь мне, брат, прямо до пояса, она если утром кого начинала ругать – до вечера не останавливалась, только на секунду прервётся – воздуха набрать – и опять, и на все корки, и честит, и частит, как дробь сыплет, но так громко и отчётливо, что тому, кого она ругает, хоть дома запишись, хоть на реку сбеги, всё равно слышно. в общем, все тёткина языка побаивались. все, кроме сына. он уже тогда ухмыляться этой своей ухмылочкой, один угол рта вверх, другой вниз, тётка Тонинья страшно злилась, она его ругает-ругает, а он стоит, ухмыляется, она даже не выдерживала, прекращала ругаться, начинала плакать, что ж ты с матерью делаешь, неблагодарный, мать ради твоего же блага старается, учит тебя, а ты стоишь, лыбишься, так бы и треснула по голове твоей дурацкой. кричать кричала, а бить не била, боялась его ещё больше повредить, один он у неё был, а сама она то ли вдовела, то ли муж сбежал от неё в Бразилию, и я его, брат, понимаю, очень понимаю. в общем, то в детстве, а то я потом в армию ушёл, а вернулся уже в город, работал в порту, снимал комнату, родители свой дом продали и участок тоже, и другой участок, купили в городе квартиру себе, квартиру мне, так мы все и зажили, а про него я забыл, и тут мне письмо. заказное. а в письме открытка с голубками и сердечками – такой-то и такая-то приглашают вас тогда-то на венчание и банкет. я так сразу его ухмылочку эту кривую и увидел, кто ж, думаю, за него, придурковатого, замуж-то пошёл? в общем, брат, любопытно мне стало, так что, я взял на работе два отгула в счёт отпуска, у милой своей отпросился – у меня тогда уже была милая, хорошая девочка, жаль, не сложилось потом, – и поехал. ну свадьба была как свадьба, невеста как невеста, местная, но из новых каких-то, я ее раньше не видел, а может, видел, да не запомнил, молоденькая, свеженькая, толстенькая, щёки тугие, розовые, на щеках ямочки, тётка Тонинья вокруг неё суетится, оборочку поправит, фату то отвернёт, то завернёт, видно, что нервничает, а невеста ничего, смеётся заливисто, как звоночек, и видно, что счастливая, будто не за полудурка замуж идёт, а за самого, что ни на есть, лучшего принца. ну, и он, – я его сразу и не узнал, он меня на голову перерос, правда, в плечах шире не стал, длинный такой, тощий, бородку отпустил, ухмылки за той бородкой не видать, человек себе и человек, только тётка Тонинья очень уж суетится.

в общем, сыграли свадьбу, хорошую свадьбу, красивую, я даже обиделся немножко, как всё детство посылать его искать, так меня, а как в дружки звать, так другого, но потом отвлёкся, стал думать, что и мы с моей милой вот так же будем стоять в церкви, и все будут на нас смотреть, а милая будет краснеть и улыбаться ямочками, хотя ней не было ямочек, но я, когда сидел и представлял это, ямочки как будто бы были.

потом гуляли, и хорошо гуляли, вначале чинно, потом, когда родственники постарше разошлись по домам, начались уже и танцы, и всякое другое по углам. я себе ничего такого не позволил, ты, брат, даже не думай, у меня была милая в городе, зачем мне деревенские, так что, я сидел, пил, ни о чём не думал, и вдруг бежит новобрачная – без фаты, растрёпанная, и, вроде, ищет кого-то, а лицо заплаканное, но от этого она кажется ещё моложе, милей и свежей, я даже подумал, надо же, какой пиончик, и слёзы, будто роса, ей-богу, брат, так и подумал, мне иногда удивительные вещи в голову приходят, а пиончик бросается прямо ко мне, хватает меня за руку и говорит – пожалуйста, говорит, пожалуйста, найдите его, найдите, он ушёл, его нигде нет, я не виновата, пожалуйста, найдите, мама Тонинья говорила, что вы всегда

умели его найти, найдите, пожалуйста, приведите, скажите, и трещит, и трещит, а сама рыдает, уже из носу потекло, лицо в пятнах, в общем, я её от себя отцепил, сказал, конечно-конечно, пожалуйста, не плачьте, как же можно так плакать на собственной свадьбе, а сам смотрю на неё, заплаканную, и думаю, не стоит придурок этого пиончика, нет, не стоит, но вынимаю из кармана платок и ей даю, у меня и платок с собой был, я вообще хорошо оделся на эту свадьбу, я прилично тогда зарабатывал, вот, говорю, вытрите глазки, она платок взяла, высморкалась, вы его найдёте, спрашивает, нос платком зажала и трубит – выводадэди – найду, говорю, найду, только не плачьте.

и правда, нашёл, то есть, я его и не искал, я же с детства знаю, куда он ходит, у реки, там, где она резко так заворачивает, есть остатки старых мостков, разошедшиеся совсем, даже на вид опасные, вот он всё детство, как из дому сбежит, так туда идёт, усаживается на мостках, ноги в воду свешивает и сидит. так вот просто и сидит, брат, веришь, я один раз нарочно за ним целый час из кустов следил, он хоть бы шевельнулся, сидел, как неживой. я ему тогда крикнул, эй, придурок, ты чего, примёрз, он вздрогнул и вскочил, а по воде круги пошли, будто кто-то нырнул, я потом несколько раз пытался выпытать у него, кто это был, но он запирался, говорил, что мне померещилось, хотя я его и тряс, по уху отоварил, я ж не мать ему, мне ж нет дела, станет он ещё дурковатей или нет, и сейчас я пошёл прямо к мосткам, и, конечно, он там сидел, ноги прямо в костюмных штанах и башмаках хороших свесил в воду, болтал ими, а из воды высунулась рыба. ну, просто себе рыба, брат, не очень даже большая, обычная речная рыба. высунулась из воды и на него смотрела. и он на неё смотрел. и знаешь, что они делали? молчали. они просто молчали, брат, смотрели друг на друга и просто молчали. вот как в жизни-то бывает, брат. вот как бывает.

Коробочка

на рождество сеньору Аристидесу Миранде подарили хорошенькую кожаную коробочку, даже как будто шкатулочку приятного кофейного цвета. сеньор Аристидес погладил шкатулочку сухими, понемногу теряющими чувствительность пальцами – на ощупь шкатулочка была такой, какой и должна быть хорошая кожаная шкатулочка – гладкой и шелковистой. сеньор Аристидес понюхал её – шкатулочка пахла кожей и чем-то ещё, какой-то маленькой несложной техникой, сеньор Аристидес затруднялся пока определить. он совсем было собрался попробовать шкатулочку на зуб – он любил вкус кожи, от всех бумажников, обложек на документы и даже брючных ремней он отгрызал крохотный кусочек в знак признания вещи своей, жена-покойница пыталась бороться с этой привычкой, но быстро перестала, попросила только – полувсерьёз, полувшутку – не грызть ботинки, но ботинки сеньор Аристидес и не грыз, это же глупость, если вдуматься, кому может прийти в голову грызть ботинки, пусть они трижды кожаные. то же касалось щегольского замшевого пиджака и тонких лайковых перчаток. зато досталось жёниной шкатулке, привезённой когда-то из Египта – сеньор Аристидес не мог спокойно пройти мимо туалетного столика, чтобы не укусить тайком пухлую крышку с оттиснутыми на ней золотыми и чёрными цветами. наконец, жена пригрозила шкатулку выкинуть, и сеньор Аристидес купил себе сплетённую из кожаных полосок закладку – это было лет двадцать назад, и теперь от закладки осталась только кисточка. сеньор Аристидес потолкал языком вставные зубы-зубы сидели, как влитые, – и уже приноровился укусить коробочку за уголок, и тут нелёгкая принесла невестку. – ну, папа, – сказала она своим невыносимым голосом – когда-то у сеньора Аристидеса был ожереловый попугай, сеньор Аристидес учил его говорить, но то ли ученик ему попался не очень способный, то ли сам он был неважным учителем, попугай выучился говорить единственное слово – «привет», – зато готов был повторять его часами своим тоненьким, пронзительным, как жестяной свисток, голосом. сеньор Аристидес несколько раз всерьёз собирался свернуть попугаю шею, но побоялся огорчить сына. может, и зря побоялся. может, заткни он тогда попугая, сын не привёл бы в дом эту женщину – маленькую, низколобую, длинноносную, с круглыми, ничего не выражающими глазками и тоненьким пронзительным голосом, – только что не зелёную, а так – попугай попугаем. – ну, папа, – сказала невестка, – смотрите, скорее, что вам принес дед мороз! – говна на лопате, – хотел сказать сеньор Аристидес, но невестка цепкими костлявыми, вечно холодными пальчиками выхватила у него из руки кожаную коробочку и открыла. в коробочке, в её сером бархатном нутре лежало что-то отвратительное: жирная бежевая запятая, похожая на садового слизня, от запятой шла прозрачная трубочка, а к ней была приделана пластиковая затычка. – слуховой аппарат! – ликующе провизжала невестка. – превосходный слуховой аппарат! теперь вы будете слышать, когда вас зовут к обеду! давайте-ка, давайте-ка примерим!

интересно, – подумал сеньор Аристидес, машинально отклоняясь, чтобы не позволить невестке ухватить его за плечо, – свернуть шею невестке – легче или труднее, чем попугаю? – оставь, оставь папу, – сказал сын, с беспокойством следивший за ними. – пусть папа сам вначале рассмотри. – я хочу только помочь, – сказала невестка. жестяные свистки не умеют издавать кислые звуки, но ей удалось. – ну-ну, – примирительно сказал сын. – ну-ну-ну.

* * *

вначале сеньор Аристидес хотел спустить жирную запятую в унитаз, но сын уговорил его примерить. – ты же сам, – сказал сын, – жаловался, что глохнешь. а с этой штукой ты станешь слышать лучше. сеньор Аристидес никогда не жаловался, что глохнет, наоборот, с тех пор, как в доме поселилась попугайная невестка, он мечтал бы оглохнуть, чтобы не слышать её жестя-

ного голоса, а пока симулировал глухоту в надежде отучить невестку поминутно обращаться к нему со всякими глупостями. но признаваться в этом было нельзя, чтобы не расстраивать сына, и сеньор Аристидес со вздохом сунул в ухо затычку, заправил запятую за ухо и покрутил колёсико. и – чудо, – в ухе что-то зашипело, защёлкало, засвистело, как в настраиваемом радиоприёмнике, пробила на мгновение негромкая инструментальная музыка, прозвучали позывные какой-то радиостанции, залилась короткой трелью рассветная птица, мужской голос принялся размеренно читать новости на смутно знакомом языке – и, перекрывая все звуки, раздался негромкий смешок покойной жены – только ботинки, Аристидес, только ботинки не начни грызть! сеньор Аристидес вздрогнул – надо же, оказывается, он в задумчивости уже прикусил коробочку от аппарата, – потом покрутил колёсико, делая погромче, и устроился поудобней в кресле. – но это же не ботинки! – сказал он вслух с наигранным возмущением, – и кому, скажи на милость, может прийти в голову грызть ботинки?! в ухе у него, на фоне шипения, пощёлкивания и свиста, будто в гнезде из тоненьких веточек, горлинкой смеялась покойная жена.

Слётки Сильверий

слётки Сильверий был голубь, и в глубине его нескладного носатого тела наливалась жизнью и вся вздрагивала от внутренних токов крепенькая и бодрая птичья душа. слётки Сильверий вслушивался в свою душу и старался дышать в такт её дрожи, чтобы душу не затошнило. ему это было нетрудно, он помнил себя с яйца, когда кроме души и скорлупы в нём ничего ещё не было. тогда душа пела ему вдохновенные героические песни про орлов и постукивала изнутри в скорлупу, оповещая мать о том, что Сильверий зреет внутри сообразно возрасту, и в положенное время выйдет наружу обрести круглые оранжевые глаза, твёрдый тёмный клюв и сильные красные ноги.

мать слётки Сильверия, немолодая шалавая голубь прижила его неизвестно от кого. закон природы велит, чтобы голуби создавали моногамную пару на всю жизнь, но матери Сильверия тесно было в рамках закона, и она желала его нарушать. когда-то у неё была моногамная пара, но муж исчез на другой день после того, как попрыгал у неё на спине, и мать Сильверия, погрузив несколько, вырвала из себя зерно пожизненной любви к мужу, а яйцо в ней от его прыганья и не завелось, тот муж был порожним. потом к ней начали ходить другие голуби, всё женатые, они залетали в гости, покуда их жёны отдавали всю нежность маленьких тёплых тел и весь жар упругих птичьих сердец святому делу насиживания, ничего не оставляя мужьям. мужья приносили матери Сильверия комочек мха, чайное перо, полкусочка булочки. мать Сильверия всё бросала в угол, поворачивалась спиной и не подглядывала, пока гость прыгал на ней и щёлкал крыльями – ей было всё равно, кто её навещает, и она не хотела потом узнавать лица чужих мужей в суете двора. если внутри неё заводилось яйцо, через положенное время она сранивала его с карниза и говорила – разбилось. но когда в ней завёлся Сильверий в скорлупе, мать отчего-то не стала его ронять, а отложила в кучку камней и веточек, и скорлупяной Сильверий лежал там и светился, будто жемчужный, а из-под скорлупы еле слышно доносились звуки героических песен про орлов.

когда Сильверий вывелся наружу, мать стала его кормить птичьим молоком, как от века положено кормить голубиных детей, и удивлялась, как ловко у неё это выходит, будто она всю жизнь ходила за птенцами, а не сранивала их ещё яйцами с карниза. в Сильверии она больше всего любила жёлтенький пуховой чубчик, и иногда ерошила чубчик клювом. сам Сильверий к чубчику был равнодушен, ему больше всего нравились его сильные красные ноги, не по возрасту большие и когтистые. когда Сильверий выбирался из гнезда и ходил по карнизу в ожидании матери и еды, когти на его ногах, вступая во взаимодействие с жестью карниза, производили страшный скрежет, и душа в Сильверии начинала радостно подпрыгивать.

однажды мать решила, что птенцу нужна отцовская фигура, и указала Сильверию на тёмное пятно на асфальте. пятно было совершенно гладкое, будто на асфальт пролили краску, но к нему было прикреплено настоящее голубиное крыло – оно взмахивало, когда ветер щекотал его в подмышку, но никуда не улетало. это твой отец, сказала мать Сильверия. он был лодырь и тунеядец, и машина его убила. видишь, он тебе машет? помаши в ответ. Сильверий помахаля пятну с крылом, и душа в нём тихо заплакала от ужаса перед увиденным. в ту ночь не душа Сильверию, а Сильверий пел душе героические песни об орлах и уговаривал душу не бояться. душа поплакала ещё немножко, но к утру успокоилась и даже спела вместе с Сильверием одну героическую песню. весь следующий день Сильверий проспал в гнезде в кучке камней и веточек, а через день решительно вылез оттуда, забил крыльями и прыгнул с карниза. ветер подхватил Сильверия под грудку и аккуратно опустил на капот стоящей внизу машины. когти сильных красных Сильвериевых ног скрежетнули по металлу – и Сильверий стал слётком.

слётки Сильверий был почти совсем, как другие слётки его возраста, но у него были три вещи, которых у других слётков не было – жёлтенький пуховой чубчик, отчего-то не сменив-

шийся серым пером, ненужная голубю способность помнить себя с яйца и вполне расцветшая компанейская душа. с такой душой Сильверию не нужны были другие слётки, но они сами тянулись к нему, как воробьи к кусочку булочки, и тогда он рассказывал им про машину-убийцу и пел героические песни про орлов. песни слёткам нравились, но в машину-убийцу они не верили. машины казались им нелепыми и безобидными конструкциями, и слётки устраивались поспать в их тени, иногда даже прижимались к колёсам, будто ища защиты и утешения. только слётки Сильверий с досадливым скрежетом расхаживал по капотам – он не мог спать, зная, что любая из машин может ожить и убить кого-нибудь из его сверстников. ну, ты! кричали другие слётки с земли, хорош скрежетать! но Сильверий нарочно скрежетал ещё сильнее.

никто не знает, что произошло в тот день чудовищный день. у голубей короткая память, даже мать слётка Сильверия помнила себя только с позавчера, к тому же она весь тот день была занята лицом к стене, потому что к ней один за другим явились трое женатых гостей с подарками и гостинцами. но, вроде бы, слётки поутру наклевались где-то пьяных фиг, а потом, разомлев, разлеглись в прохладной подворотне, подложив под себя одно крыло и укутавшись другим. тогда-то, вроде, во двор совершенно бесшумно, как сама смерть, ворвалась та машина. первые два слётка не успели даже проснуться. третий открыл глаза, попытался взлететь, но было поздно. четвёртый в ужасе барахтался, наступив себе на крыло. и тут невесть откуда с диким криком на машину спикировал слётки Сильверий, выставив свои сильные красные ноги когтями вперед. четвёртый слётки, слез, наконец, с крыла и вскочил – как раз вовремя, чтобы увидеть, как ставший огромным слётки Сильверий раздирает страшными когтями машину-убийцу, во всё горло распевая героическую песню про орлов.

Никогорадиопьеса для двух голосов

а если, допустим, написать пьесу – можно же написать пьесу, не всё ж рассказы?

– пиши пьесу.

– значит, пьеса.

– пьеса, значит.

– не паясничай, ну!

– где же я паясничаю, скажи на милость? я поддакиваю. а ты пиши свою пьесу.

– я и пишу. значит, пьеса.

– пьеса.

– пьеса! дамский туалет.

– дамский, значит, туале...

– молчи!

– молчу.

– значит, дамский туалет. две кабинки.

– мало. обычно хотя бы три.

– две кабинки! ну, ладно, три, но третья закрыта, на ней наклейка чёрная, написано «извините, временно не работает». две другие тоже закрыты, но там кто-то есть, они разговаривают.

– кабинки разговаривают?

– да не кабинки! те, кто там внутри – разговаривают! переговариваются. один голос говорит – ну, говорит, я тогда ей говорю – убей, говорю, тогда его. если не можешь выгнать – убей. дальше дверь кабинки отрывается, выходит такая... в леопардовом платье.

– катя ванесса?

– катя ванесса, да. платье в обтяжку, немного забилося в трусы, она, значит, вытягивает его, а сама продолжает говорить – убей, говорю, убить-то ты его можешь? – она моет руки, вода шумит, она повышает голос, чтобы перекричать воду – я, говорит, ей говорю – если и убить не сможешь, позвони мне, я приеду – убью. из другой кабинки, из закрытой, говорят – ага.

– ага.

– катя ванесса: – ну, и вот. приеду, говорю, и убью. а она мне, такая, да ладно, да ещё не хватало, чтоб ты...

тут открывается дверь и катю ванессу манят рукой быстро-быстро, она обтирает руки о леопардовое платье и выходит. заходит маленькая, в штанах таких защитного цвета, везде карманы. взъерошенная немножко. или нет! нет! не взъерошенная, а бритая. нет, наполовину пусть бритая, а наполовину взъерошенная. в майке и штанах-милитари, во. идёт сразу к умывальнику и начинает смывать что-то с рук. а из той кабинки, которая работает, но закрыта, спрашивают так нетерпеливо – ну, и чего? убила? а маленькая в милитари так быстро-быстро начинает руки тереть друг о друга – нет-нет, что вы! конечно, нет!

маленькая в милитари (быстро-быстро смывая что-то с рук): – нет-нет, что вы! конечно, нет!

– а как же тогда?

маленькая в милитари (стряхивает с рук воду, смотрит придиричиво, все ли смыла): – ну, стали на площадку ходить, с тренером заниматься. это небыстрое дело, знаете. но динамика! динамика есть! значит, я думаю, получится.

тщательно вытирает руки бумажным полотенцем, выходит. сразу за ней заходит лет пятидесяти в мешковатом платье, берётся за ручку дверцы. а из кабинки голос – получится, конечно.

– получится, конечно.

лет пятидесяти в мешковатом платье (расцветая и становясь сразу лет сорока в красивом оверсайзе) – вы правда так думаете?

– просто уверена. потому что главное – динамика. а она есть.

лет сорока в красивом оверсайзе (держась за ручку двери): – да, динамика, есть... можно сказать, что есть...

– ну, и вот.

лет сорока в красивом оверсайзе (отпуская ручку. с большим чувством): я вам очень, очень признательна! вы не представляете, как я вам признательна! – быстро выходит. вместо неё входит такая усталая, с немойтой головой.

– почему они у тебя все безымянные?!

– ну, не все же. катя ванесса с именем.

– одна катя ванесса! а остальные?! как вот зовут маленькую? и которая непонятного возраста в оверсайзе? и вот эту, усталую, её как зовут? подумаешь отличительный признак – голова немая! голову всякий может не вымыть, может, у неё воду отключили, а зовут-то её как?!

– ну, что ты ругаешься, я ещё, может, не знаю, как её зовут! ну, пусть элиана! устроит тебя элиана?

– устроит!

– а чего кричишь?

– я не кричу! давай дальше. входит, значит, элиана, усталая, с немойтой головой.

– да! входит элиана, усталая, с немойтой головой. за спиной рюкзак на одной лямке, в руке – пакет. снимает рюкзак, ставит на пол. пакет тоже ставит на пол. наклоняется, достаёт из пакета маленький шампунь, запечатанный ещё. начинает вскрывать. и тут такой голос из кабинки: – да что вы, не за что.

– да что вы, не за что.

элиана (роняет шампунь): – ой, простите! я просто задумалась.

– нет, ничего, это вы меня простите! это я сама просто задумалась.

элиана (поднимая шампунь, жалобно): – у меня постоянно так. задумаюсь – и не понимаю, что делаю. а потом смотрю – уже сделала что-то, а было не надо.

– не надо было?

элиана: – нет, не надо было. прекрасно можно было бы без этого обойтись.

– может, вам это просто кажется? может, как раз наоборот, это надо было, но вы еще просто не были к этому готовы?

элиана: – а почему всё равно сделала? если не готова?

– потому что задумались и себя не контролировали.

элиана (вскрывает, наконец, шампунь, смотрит на него недоумённо) – то есть, вы думаете, что мне это было надо?

– конечно. иначе, зачем бы вы это сделали?

элиана (выбрасывает шампунь в корзину): – вы правы. вы правы-правы. вы правы-правы-правы. если б вы знали, как вы правы! – одной рукой хватается рюкзак за лямку, другой хватается пакет и быстро выходит, почти столкнувшись в дверях с катей ванессой.

– опять с катей ванессой?

– ну, а чего бы и не с катей ванессой?

– да нет, я ничего, я просто спрашиваю.

– а я просто отвечаю.

– ты не отвлекайся. столкнувшись в дверях с катей ванессой...

– столкнувшись в дверях с катей ванессой. катя ванесса, такая, сразу от порога – нет, ты прикинь, что! ты только прикинь, что!! она его всё-таки убила! убила и мне звонит – спрашивает, что делать. а я, такая, ну как что делать? выкинь теперь. смогла убить – сможешь и выкинуть. а она мне, значит – катя ванесса подходит к зеркалу, корчит унылое лицо, оттопы-

ривает сильно накрашенную губу – она мне, ну, даааа... убить-то, говорит, просто, а вот вы-ы-кинуть... Эй! ты меня слышишь? – катя ванесса отворачивается от зеркала и обращается к кабинке, – ты уснула там? нет, серьёзно, ты уже целый час сидишь, у нас тут такое творится, а ты сидишь и молчишь. чего молчишь?

катя ванесса делает шаг и стучит в дверцу кабинки. вначале деликатно, костяшками, потом кулаком, потом барабанит обоими кулаками, потом пинает дверь носком башмака, поворачивается к двери задом и с силой лягает ее. тут заходит уборщица фонсека и с порога – Эй! чего это вы хулиганите?!

уборщица фонсека: – Эй! чего это вы хулиганите?!

катя ванесса: – ой, как хорошо, что вы пришли! я не хулиганю, там человеку плохо!

уборщица фонсека: – какому человеку?

катя ванесса: – подруге моей. у неё болел живот, она там заперлась час назад, чтобы... ну... это... в общем, заперлась, но мы с ней разговаривали, она отвечала, а теперь перестала отвечать, вы можете открыть эту дверку, я в службу спасения позвоню пока?

уборщица фонсека: – может, она просто ушла? посидела немножко, потом живот прошёл у неё – она и ушла?

катя ванесса: – не уходила она, я её снаружи ждала, я б видела, и у неё очень сильно живот болел, она ещё когда сюда шла сказала – ужасно живот болит, час просижу, не меньше, ну, и просидела, а теперь не отвечает, вы откройте дверку, пожалуйста!

уборщица фонсека (горестно): – и опять в мое дежурство. что же они, как понос, все в моё дежурство, почему у марины розы никогда не запираются на час в кабинке, почему, как я, так сразу, господибожемой, вот же напасть-то...

катя ванесса (обрывает её): – не нойте, тётя!! открывайте кабинку, может, ей там помощь нужна! открывайте давайте!! – и бьёт с размаху по двери ладонью.

уборщица фонсека делает кисло-возмущённое лицо, тоже хлопает ладонью по двери кабинки, а потом вдруг хмурится, как молодой лабрадор, когда у него ещё шкура не вся на лбу натянута, и от этого вид озадаченный – нет, говорит, погодите...

уборщица фонсека (с озадаченным видом): – нет, погодите, эту же дверцу не толкать надо, а тянуть.

катя ванесса: тянуть?

уборщица фонсека: тянуть. (берётся за ручку двери)

катя ванесса нетерпеливо сбрасывает руку уборщицы фонсеки, сама хватается за ручку двери и дергает на себя. дверца распаивается, а там...

– никого?

– ну, что ты меня перебиваешь?! что ты всё время вперёд лезешь?! весь эффект испортила!! нет, зачем ты меня перебила, а?! а?! ну, никого, никого, на, подавись!! никого!

– никого.

– никого.

никого.

Это я, Господи

восстанавливать старые привычки все равно что прокапываться в снегу от порога к калитке. дорожка есть, она здесь, под снегом, вчера по ней ходили, позавчера ходили, завтра выглянет солнце, снег тает, и опять можно будет ходить, но сейчас в это почти невозможно поверить, образ дорожки, её изгибы или прямизна, её мраморы или камешки, или мох, зелёный пружинящий под ногами мох, серая бетонная плитка, слегка раскисшая от вчерашнего дождя глина, совсем ещё свежий, но уже начавший крошиться асфальт, всё куда-то делось из головы, остались только ничего не значащие слова – ас-фальт, дор-ожка, мох, – и убийственная реальность снега, мучительная несомненность снега, леденящая бесконечность снега, от неё хочется кричать и бить снег лопатой, колотить снег лопатой по белому лицу, всаживать снегу в живот лопатный штык, или бросить лопату куда-то в сторону, куда-то за спину, куда-то прочь и прямо из двери упасть всем телом в снег и там остаться, я никуда не пойду, господа, я тут буду, пускай меня волки съедят...

труднее всего было выбрать столик. те, кто ходил до меня, говорили, что труднее всего войти, будто кто-то оттаскивает от дверей, будто не только голос в голове – не ходи, нельзя, не ходи, – но и чьи-то руки на плечах, на локтях, повыше локтя, пальцы твёрдые, холодные, железные, никогда не охватят руку целиком, но вцепятся, вопьются в самом нежном, самом белом месте, сожмут, сдавят, выкрутят, ущипнут, завтра будут синяки, неделю потом придётся носить майку с длинными рукавами, я надела толстую гладкую куртку, чтоб пальцам было не впиться, не ухватить, чтоб соскальзывали, но оказалось, что войти просто, никто не хватает, не тянет прочь, даже голоса в голове не звучит, я тренирована, натренирована, вытренирована годами безденежья, когда ходишь по улицам и не замечаешь ни кафе, ни ресторанов, будто их нет, как нет под снегом дорожки, её мраморов, её плитки, её мха, а потом вдруг случились деньги и раз! идёшь, слегка оскальзываясь на раскисшей глине, скрежеща по гравию, как это их нет, вот они, вот оно, тянешь на себя тяжёлую деревянную дверь, или толкаешь стеклянную податливую, или снисходительно позволяешь фотоэлементу распознать тебя на пороге и услужливо пригласить внутрь, но вот выбрать столик и сесть это да, это было мучительно, это всегда мучительно, не только сегодня, да.

* * *

когда ввели комендантский час, все обиделись и сильней всех комендант, он сказал я вам не нянька следить, чтобы все улеглись, у меня хозяйство, подвал, чердак, лестницы, счётчики, за всем пригляди, пыль смахни, цветы у входа полей, ещё по домам загонять, спать укладывать, не будет этого.

нянька тоже обиделась, сказала, ввели комендантский – вводите и тихий, всем полезно поспать час после обеда, кто после обеда спит, тот и выглядит лучше, и живёт дольше.

с нянькой согласились, ввели тихий час. ещё час взял себе физкультурник – полчаса на утреннюю зарядку, полчаса на командные игры после завтрака. хотел больше – на атлетику, борьбу и шахматы, если у кого освобождение от подвижных игр, но ему не дали, сказали, выкуси, тут кроме тебя ещё желающие есть.

комиссар вытребовал себе час политической грамотности, сказал, даже в такое время мы должны разбираться во внутренней и международной политике, а мы как-то даже и не знали, что у нас есть комиссар, но все проголосовали за, всякому хочется разбираться в политике, даже в такое время, это он правильно сказал, комиссар-то.

ещё один закричал, что обязательно нужен час гражданской обороны, потому что все разучились носить противогазы и разбирать автомат, но его стукнули папкой по голове, я со своего места видела, папка была жёлтая, а кто стукнул, я не заметила, кажется, нянька.

дальше пошло проще, питательный час разделили на четыре части, по десять минут на завтрак и полдник и по двадцать на обед и ужин.

гигиенический час нашинковали на два душа утром и вечером, мытьё рук до и после еды и после посещения уборной. на большую и малую нужду выделили отдельный час в день – трать – не хочу. везде повесили журналы посещений, отмечайся – и сиди, хоть сразу целый час, хоть в разбивку, а если кто не хочет, заперлю, там, или непривычен рассиживаться, разрешили экономить и накапливать минуты. кто накопит час – может в субботу пойти в баню или в бассейн, а больше часа копить не разрешили, сказали, что всё, что больше часа, будет сгорать.

* * *

но я справилась, конечно, выбрала я себе угловой столик с диванчиком, за диванчиком стена, деревянная, крепкая, хорошо сидеть спиной к деревянной стене, спине не так страшно, и с одного боку тоже стена, надёжная, тёплая. с другого, правда, люди, но я от них отгородилась, рюкзак поставила между ними и собой и куртку положила, рюкзак поставила поближе к себе, куртку подальше, потом передумала, рюкзак отставила подальше, а куртку переложила поближе, между собой и рюкзаком, а потом взяла и надела куртку на рюкзак, в капюшон положила шарф, рукава всунула в перчатки и положила курткины руки на стол, будто мы тут вдвоём сидим за столиком – я и рюкзак в куртке, кому какое дело, в чём ходит мой рюкзак, хочет – и в куртке, их не спросил никого, в чём ему ходить.

* * *

вначале всё хорошо было, вставали в восемь и шли в уборную, потом делали зарядку, потом утреннее гигиеническое время, кто хочет моется, кто хочет бреется, кто хочет в туалете сидит газету читает, потом завтрак, потом мытьё посуды, потом построение. это который хотел гражданскую оборону, стакнулся с комиссаром, и тот ему дал время между мытьём посуды и уборкой территории, они называли это патриотический час. во время патриотического часа мы строились, маршировали, надевали-снимали противогаз, автомат разбирали тоже, но автомат был один, а нас много, и мы в первый же раз разобрали его весь и забрали себе на память, тот, что получил патриотический час, так орал, мы думали – лопнет, но разобранного автомата не вернули, и я не вернула, мне досталась спусковая скоба, очень глупая штука, и отверстие для соединительной втулки без втулки. втулку взяла библиотekarша, у неё был книжно-журнальный час перед ужином, а у меня сразу после ужина – час полной свободы, это я сама придумала и дралась за него на собрании. меня поддержали библиотekarша, медсестра из амбулатории – ей своего часа не дали, но она и не хотела, она вообще редко выходила из амбулатории, даже обедала и ужинала отдельно, и ещё мы подкупили физкультурника, сказали, что когда я получу час полной свободы, он может тихонько брать у меня минут по пятнадцать для своих шахмат, а если большой турнир – то и полчаса. против были комиссар и этот, который патриотический час, кричали, что полная свобода приводит к хаосу и неразберихе, сегодня полная свобода, а завтра все нарушают комендантский час, и лучше этот час потратить с пользой на разучивание и пение песен о родине, но нас было больше, а комендант и нянька воздержались, их, кажется, вообще на том собрании не было, и я получила свой час, а комиссар с патриотическим часом – кукиш.

* * *

рюкзаку я тоже заказала чай и булочку, чтоб ему скучно не было и чтоб официантка не думала, почему это за столиком сидят двое, а кушаю только я.

я понимаю, конечно, что рюкзак не пьёт чая, даже если он одет в куртку, а в капюшоне у него шарф, будто серое мохеровое лицо, и официантка, наверное, тоже понимает, но она ничего не сказала, принесла и чай, и булочку, и мой кофе с пирожным тоже, ей, наверное, всё равно, сколько чего нести, лишь бы платили, я и заплатила, конечно, и за себя, и за рюкзак, в смысле, и за кофе с пирожным, и за чай с булочкой, и только женщина напротив сильно меня нервировала. она сидела себе за столиком над своей кофейной чашкой и блюдечком с пирожным, тихо сидела, смотрела в чашку, а только я поднимала голову – и она тут же поднимала и на меня смотрела. а лицо у неё было наглое-наглое, вызывающее-вызывающее, так бы и дать лопатой плашмя по этому лицу и ещё штыком в живот, где больнее. это я комиссара так ткнула – штыком лопаты в живот, а библиотекарша била его плашмя по лицу.

они отняли наше время, мой час полной свободы и библиотекаршин книжно-журнальный час, и банный накопленный час, и нянькин тихий час, а комендантский час перенесли на час раньше и за нарушение отдавали волкам, и амбулаторию закрыли, вместо неё сделали военно-полевой госпиталь и заперли там медсестру, чтобы она не сбежала, а нянька и комендант ещё раньше пропали, а физкультурник нас предал, ему пообещали настоящую полосу препятствий – с частоколом, окопом и лабиринтом, – и он переметнулся, и после этого мы стали вставать в шесть, потом построение, потом завтрак, потом опять построение, потом час политической грамотности на три часа и ещё домашнее задание и контрольные, а у кого в контрольной больше трёх ошибок, того вместо полдника заставляли отжиматься и подтягиваться под присмотром физкультурника, и никаких освобождений от физкультуры ни у кого больше не было, и мы с библиотекаршей уже больше не могли, а тут выпал снег, и нам с ней вручили лопаты и велели копать от двери до калитки, потому что мы хуже всех пробежали полосу препятствий в полной выкладке, и потому что при обыске у меня нашли спусковую скобу, а у библиотекарши соединительную втулку с отверстием, и мы вначале копали, а потом пришёл комиссар, а тот, что получил патриотический час, не пришёл, потому что библиотекарша ещё раньше заперла его в уборной...

лучше бы, конечно, эта женщина на меня не смотрела так пристально. ей же самой было бы лучше, я только выгляжу спокойной, как рюкзак, на самом деле, я очень нервная, и в руке у меня горячий кофе, а в другой руке чай, тоже горячий, и я так просто не дамся, видела я, что они сделали с нянькой, мы с библиотекаршей увидели, когда прятали комиссара в сугробе, нянька была там, то, что осталось от няньки, и от коменданта, и от банщика, он ещё раньше пропал, они всех их отдали волкам, вероломно отдали, потому что нянька ничего не нарушала, и комендант тоже, и банщик, и мы там же бросили комиссара, прямо сверху них бросили, чтобы волки его сразу нашли, а потом взяли наши лопаты и закопали дверь, хорошо закопали, весь снег, сколько его выпало на дорожку, на её мраморы, на её камешки, на её зелёный мох, на раскисшую от дождя глину, на некачественный асфальт, весь снег от двери до калитки собрали и завалили им выход, а лопаты взяли с собой и ушли, только потом вспомнили, что у них в военно-полевом госпитале заперта медсестра, но не возвращаться же.

а эта женщина всё смотрит и смотрит, и смотрит, и смотрит, и смотрит, и я уже больше не могу, я сейчас кину в неё чашкой, и я встаю и поднимаю руку, и она встаёт и поднимает руку, у неё в руке чашка, и в другой руке чашка, это зеркало, господи, это просто зеркало, это я в зеркале, это я, Господи, Господи, Господи, это я, Господи, это я, я, я, Господи, Господи... Господи...

Ася Датнова

Колонизация

Первопроходцы возвращались подкопченные и смурные, с загаром коньячного цвета, мы, прильнув к низким окнам, видели, как они нетвердо поднимались по улице Ленина, на одеждах несли запах чужой стороны, в снегу были похожи на головешки, а кто выходил с ними здороваться, чуял сладкий черносливовый дым, сахарный торф, угли медленно тлеющей древесины уда, словно путешественники смешали в ведре всякий столичный мужской парфюм, да и выпили. На расспросы, как там, молча поднимали вверх большой палец.

Раз такое дело, к декабрю стали, помолясь, переселяться. Первыми двинули мужики одинокие, откинувшиеся – местность эта к нам и поближе, и поприятнее, чем другие места отдаленные – там, где раньше ничего не было в полях, она теперь с каждым годом вспучивалась, всплывала как Атлантида, гнилым корабельным дном кверху, только насухую, мерещилась и маячила заревом.

Зимой у нас все равно нечего делать. Тихо и темно с полудня, мороз такой, что выплеснув воду из ведра у колонки, слышишь, как она потрескивает, застывая. Снег звенит под валенками. Главный холод ждет в сосняке, из просветов между стволами так дохнёт ярко-синим, что страшно – а к вечеру ползет по дороге к домам. Ночью провода воют как волки, столбы гудят как ульи, три фонаря над всем селом, внизу все бело, сверху все черно. По телевизору говорят – не осталось белых пятен на земле, Илон Маск уже хочет колонизировать Марс. А глянешь с крыльца – до горизонта белое пятно. Мерзлы, в общем, сильно.

Сначала дурачок Лаврюша хотел идти, напрямки да наобум, мужики пожалели и не пустили, а послали тракториста на переговоры. Он когда пил на майских, рассказывал, как черти скакали у него по трактору и пели «Этот День Победы». С чертями всегда можно договориться.

Колонизируем помаленьку. Местность каменистая, душновато, но главное, тепло, живем как в раю. Расселились по Долине тени. Вглубь пока не заходим, воду далеко возить. Да летом у нас и снаружи хорошо. Аборигенов мы зимой в дома пускаем пожить, чтобы не промерзали. Весной гоняем, а то шастают, а от них сухая трава занимается. Начальство к нам и раньше редко ездило, теперь вообще не ездит. За газ всем селом платить перестали. Рассаду без теплиц выращиваем.

Натаха Сдолбицкая раньше самогоном торговала, а теперь пить бросила – хочет агентство открывать, конкурировать с Турцией, вроде как к нам дешевле. Пока делает зимние туры. Демонам, наоборот, наша зима в охотку – ходят остывают, над каждым облако пара, смотрят, как иней поминутно нарастает, как кусты отрачивают зимнюю шкуру.

Того дня мы наружу на рыбалку выходили – начался снег с дождем, пошел быстро, наискось, мелкий и острый, а потом стал падать отвесно, и хлопья все крупней, с грецкий орех, наверное. Не видно ни шиша, одно белое кипение, на реке столбики пара над проталинами, ржавые камыши, три старые лодки, а между полыньями по льду демоненок на коньках бегает, шапку натянул до рыльца, один из нас всех рад погоде. Черти – они как дети, даже завидно.

Татьяна Замировская

Хлорофилл

С тех пор, как запретили выходить из дома, Эдвард грезил ботаническим садом или хотя бы парком. Во времена, когда он ездил на работу, заставить его выбраться в парк было невозможно: по вечерам валялся на диване разбитый, расплесканный по нему, как ртутный плевок, источающий опасные испарения, на выходных перебирал шкафы с одеждой и досматривал бесконечные сериалы.

Теперь постоянно ныл: парк, сад, цветущие вишни в этом году пропустим. Мы каждый год пропускали вишни, потому что у Эдварда была работа, а теперь вот пропустим вишни из-за того, что запретили выходить, какое-то неизвестно что.

На улице и правда творилось непонятно что: Эдвард попробовал выйти, но тут же сказал, что все застлано целлофаном. Еды в доме было на две недели – не больше.

– Надо познакомиться с соседями, – сказал я. – Мы даже имен их не знаем.

– Какое не знаем, – сказал Эдвард. – Мы когда посылки там внизу перебираем, видим их имена и, следовательно, всё знаем.

Оказалось, всё не так: несмотря на то, что мы регулярно видим имена, мы их не помним. Видимо, функционируют как имена только те, на которые откликаются конкретные люди. Все остальное работает как метки: Дамиен Хернандес 3В, Париса Вахдатины 2А, Мириам Монализа Хомейни 1С, Джой Банг 3С, Вильям Кэмпбелл 2С. Разве это живые люди?

– Уильям Кэмпбелл – это двойник Пола Маккартни, – сказал я. – Когда Пола Маккартни в 1966-м сбила машина, его заменили на Уильяма Кэмпбелла. Но мы все так крепко любим старика Уильяма, сто раз спасшего наш мир, что даже представить не можем, что на его месте мог быть какой-то вздорный щекастый парниша из рабочего райончика! Хорошо, что ему свернули голову в шестьдесят шестом, правда?

Эдвард копошился с оконной рамой, дергал ее туда-сюда.

– Вообще все это какие-то нереальные имена, – сказал я. – Джой Банг – мужчина или женщина? Дамиен Хернандес – это вообще имя нарицательное, это может быть человек любой расы, внешности и даже пола. Мириам от Парисы я не отличу ни за что. Они все просто как плесень на стенах, статистика.

Эдвард высунулся из окна, насколько мог, долго рвал руками наружный целлофан – плотный, серый, как в дурном сне про невозможность двигаться и говорить, – но там оказался еще один слой целлофана, и между слоями – это было расстояние где-то в метр – гулял с собакой сосед снизу. Его я знал.

– Это его собака выла по вечерам, когда он еще тусовался? – спросил я.

– Теперь мы уже не узнаем, чья, – ответил Эдвард. – Все сидят дома и ничья собака не воет.

– Если кто-нибудь умрет, его собака начнет выть, – сказал я. – Хотелось бы в это верить, во всяком случае.

Когда я мыл посуду после завтрака, я обнаружил на посудном лотке язвенно-алую, розовую животную плесень. Перевернул, закашлялся, побежал в ванную. Там долго-долго купал словно оживший, покрытый слизью лоток в кипятке. Эдвард был на работе в спальне, я решил его не беспокоить, оттуда слышались жестокие нотки трудного дозвона.

Пока ставил лоток на место, заметил еще немного черной плесени внизу, у самых ножек посудного буфета. Я присел и начал ее рассматривать: на первый взгляд это была черная бугристая земля, которую кто-то ритуальными пригоршнями рассыпал вокруг, но, сфокуси-

ровавшись, можно было рассмотреть тонкоствольные грибы, карабкающиеся друг на друга, как муравьи-акробаты с раскидистыми рученьками-ноженьками. Грибы лесились, колосились, заваливались друг на друга, некоторые образовывали пирамиды. От моего внимательного сопения комья грибных колоний закачались – шторм, подумал я, бегают там, собирают тревожные чемоданчики, бедненькие.

Эта плесень счищалась с трудом, я просто поскреб ее по верхам, тем более что на следующий день комья земли выросли снова и на этот раз выглядели как чистый червяной чернозем.

– Ты, что ли, растения пересаживал? – спросил Эдвард. Он переоделся обратно в домашнее: для конференц-звонков он до сих пор брился и надевал пиджак и брюки, чтобы как в обычной жизни.

– Мошки вывелись, – задумчиво сказал он, проверяя наши растения, которые я, конечно же, не пересаживал. Мускулисто сжатые хрустящие ладошки замиокулькаса, который все тут называют зи-зи плант, выпускали, как будто фокусник мерцающие вееры карт, мельтещащих серебристо-черных мошек. Они вылетали мучительно и порционно, словно вот-вот крошечными эскадрильями полетят бомбить маленькую-маленькую Польшу, расположенную где-то под туалетным столиком.

– Меня вчера укусила такая мошка, – сообщил Эдвард и начал закатывать растянутую, обмазанную чем-то жирным, вареную штанину, от чего меня затошнило.

– Смотри, это типичный укус мухи: отъедена верхняя часть кожи. Мошечка не впивается, как комар, а именно что кушает, как пилочкой срезает. Даже маленькая может нормально так отожрать, если не согнать ее вовремя.

Через три дня я заметил на лимоне, лежавшем в вазе скорей для успокоения и красоты, нежели для отплытия в чайные воды, тонкие бледно-синие грибы-плесневики. Я повертел лимон в руках. На него села мушка.

В коробке, где мы хранили овощи и фрукты, что-то стыдливо зашуршало, как будто маленькая застенчивая школьница пытается завернуть в вошеную бумагу собственноручно испеченное скаутское печенье – чтобы получился аккуратный кулечек.

– Мышь! – сказал Эдвард. – Я тебе говорил!

– Тут не может быть мышей, – сказал я. – Может, какой-то фрукт гниет и испускает газы. И они двигаются вдоль лука и шелестят луковой шелухой, эти потоки воздуха. Надо пожаловаться в домоуправление. Они обязаны что-то сделать.

– У меня была подруга, – сказал Эдвард. – Ей было лет пятьдесят, что ли. Она все переживала, что у нее может быть ранний Альцгеймер. И как-то она проснулась и видит: посреди комнаты сидит опоссум. Ты же знаешь, опоссумы – они здоровенные! Первый этаж. Там сад за окном, он из сада как-то приполз, может, через дырку какую-то, дом старый. Она его испугала – он зашипел и убежал. И на следующую ночь так же – проснулась: смотрит, опоссум ходит топает.

– И что? – спросил я. – Он ее укусил и она заразилась бешенством?

– Нет, – сказал Эдвард. – Опоссумы не болеют бешенством. Это такие древние животные, что у них все сформировалось еще до того, как этот вирус получился. Сумчатые, с низкой температурой тела. Такой низкой, что вирусы бешенства там не выживают, им холодно.

– Просто замерзают, как полярники, – сказал я.

– Она постоянно жаловалась домоуправлению – мол, заделайте дыры, ходит опоссум каждый день, роется в корзине с бельем. А ей никто не верил, думали, она с ума сходит, там и говорили: может, это у вас ранний Альцгеймер. Ужасно, правда? И когда она пришла со скандалом, они ей выдали знаешь что? Маленькую мышеловку. Размером с ладонь.

– И что?

– И больше опоссум не приходил. Но она считает, что это просто они таки дырку из сада заделали.

– Из сада может прийти что угодно, – сказал я. – Хотя сейчас тут всюду целлофан, оно не пролезет, наверное.

Эдвард помыл за собой чашку и долго смотрел во всхлипывающее отверстие слива.

– Там какие-то серые треугольные мушки кружатся, ты таких знаешь? – спросил он.

– Я тебе сколько раз говорил: не смывать даже крошечные кусочки еды! Там всегда завозятся сливные мухи, даже от картофельных очистков! – ответил я.

В луковых залежах снова что-то завозилось.

– Дай-ка я случайно уроню туда нож, – сказал я. – Повод все перебрать.

– Мне надо работать, – сказал Эдвард. – Ты можешь сделать это завтра?

Я предложил ему спуститься в подвал – может, соседи организовали какую-нибудь простую разновидность досуга для таких, как мы. Подвал объединял все подъезды дома – там было несколько коммунальных комнат, прачечная, стоянка для велосипедов, котельная и еще какие-то извилистые коридорные пространства для хранения дерьма.

В подвале шумел лес, но все было жухлое, никудышное.

Раздвигая желтые, шелестящие, как наша мышь, ветки, мы добрались до коммунальной комнаты. Нас встретил 3В с теннисной ракеткой, которую он держал под мышкой наподобие ружья. Хорошенько присмотревшись, я понял, что это и было ружье.

– Хлорофилла мало, – сказал сосед, указывая глазами на желтое, укутывающее потолок растительное месиво из ветвей, плющей и каких-то перевивчатых, висельничных, жгутовых кровоостанавливающих лиан.

Казалось, он извиняется за плохое качество леса.

– Солнца нет, вот и хлорофилла нет. Но лезут все равно, видишь.

Он пнул ногой жухлый косматый куст.

– Мы охотимся, можете с нами сейчас. Если вы просто поговорить, лучше потом.

* * *

3В и партнерша 3В медленно двигались по увитому ржавыми джунглями коридору в сторону соседнего подъезда. Партнерша 3В осторожно раздвигала чащу мачете.

Из-за коридорного поворота вышел невысокий круглобокий олень с затуманенными, какими-то непротертыми тусклыми глазами.

– Олень! Отлично! – закричал 3В. – Давай!

Из-за другого поворота коридора кто-то выстрелил. Это были 2А и 1С – они выскочили с дымящимися ружьями нам навстречу, стараясь не задеть замедлившегося, оседающего оленя, выпускающего из ноздрей дрожащий чайный пар.

Олень грузно повалился, как стол, в жухлые заросли.

– Если не убивать, они не посылают новых, – сказал 3В. – Вот только не начинайте. У нас на этаже тоже все веганы. Не начинайте, ладно? Я не могу уже. Еще раз это все объяснять я заебался уже.

– Эти откуда? – спросили 2А и 1С. – Это со второго этажа? Оружие у них есть?

– Зачем вы его убили? – спросил Эдвард.

– Если не убивать, они не посылают новых, – сказала 2А. – Мы слышали, что в соседнем доме не убивали, например. И что? И все, больше не посылали. Хана соседнему дому, жопа. Один раз не убьешь – еще простят. Второй – ну, относительно нормально, просто перерыв будет. После третьего раза – больше не посылают новых.

– Там какие-то плоды растут, можно питаться, – я погладил Эдварда по плечу.

– Они плохие, – сказала 1С, склоняясь над оленем с ножом, – Не успевают дозреть, но при этом перезревают и портятся. Солнца мало. Мы тоже вначале такие: «О, плоды». Ага,

плоды. Попробуйте сами. Физалис где-то под третьим подъездом был, но вы же не вытянете на одном физалисе.

Эдвард развернулся и пошел по лестнице вверх.

Через некоторое время я постучал в спальню, которую он переоборудовал под свой рабочий кабинет. Почему-то Эдвард знал, что я принес с собой кусок мяса.

– Я не буду это есть, – сказал он из-за закрытой двери.

– Давай я просто попробую приготовить! – сказал я. – Может, тебе понравится. Слышал, что случилось в соседнем доме?

– Я такое не ем, – капризно сказал Эдвард.

Я порезал мясо на тонкие полосочки, положил в сковородку, залив оливковым маслом, добавил сливки, чеснок, лук и прочее. Олень по вкусу был как говядина, но мягче. Все равно, конечно, надо было добавить в соус немного лимона.

Из спальни вышел Эдвард в халате и недовольно посмотрел на меня.

– А что ты ешь? – спросил я. – Я понимаю, что оленя ты не ешь. Но что-то ты ведь ешь, когда невозможно достать твою обычную еду, все эти овощи. Или ты такая неженка, что ешь только физалис?

– Курицу, – подумав, сказал Эдвард. – Это тоже так себе, но я, возможно, смогу как-то смириться.

Поговорю с соседями, попробую загнать в этих джунглях курицу для Эдварда, понял я.

* * *

Через несколько дней я спустился в подвал. Там по-прежнему были желтые джунгли. На ступеньках в костюмах хаки, как американские солдаты во Вьетнаме, сидели 2А и 1С. 1С курила самокрутку.

– Осторожно, – заметил я. – Сухие все эти растения, чаща эта сухая. Угровишь весь дом.

– У нее стресс, – сказала 2А. – Овечку вчера убила. Переживает. Есть не смогла.

– Я убила только потому, что у нас уже было одно предупреждение в доме. Ну, когда ты не смогла по собаке стрелять. Помнишь?

– Заткнись.

– Ты же из Китая! – 1С сплюнула прямо под ноги. – Тебе раз плюнуть собаку убить! Вы их там в котлах живьем варите!

– Я не реагирую на твои слова, только потому что мне тебя жалко, – сказала 2А.

Я объяснил им, что хотел бы подстрелить для Эдварда курицу. Меня представили 2С, который действительно был похож на чьего-то двойника или даже универсального двойника – он напоминал вообще всех, кого мне хотелось бы забыть.

– Курицу редко посылают, – сказал 2С. – Да и как мы ее потом поделим, она мелкая. Хотя можно. Завтра приходи в обед, ходят слухи, птицу какую-то пошлют. Я скажу ребятам с третьего, что ваша очередь, вы же вроде еще не охотились. Отдашь мне и девчонкам ножки или там крылышки, нормально?

– Нормально, – сказал я.

На следующий день я взял с собой большой кухонный нож и погуглил, как сворачивать курице шею, чтобы курице не было больно. Но как ее поймать? Неужели только подстрелить?

Внизу, в подвале, у входа в джунгли, меня уже ждал 2С в зеленой защитной куртке и антимоскитной сетке.

– Мухи, – объяснил он. – Такие маленькие треугольные. Да ты их знаешь! Как самолет «Фантом», ха-ха-ха. Видел уже таких явно!

Он сунул мне в руки ружье.

– Запутается в лианах этих – добивай, не думай даже. И в глаза не смотри! Даже если птица – не смотри. Не сможешь убить – второе предупреждение будет!

Мы углубились в заросли. По лицу неприятно хлестала кукурузная шелуха, выбивающаяся из-под навешанных всюду проводов – видимо, добрались до электрощитовой. Где-то неприятно кричала какая-то тропическая птица и были слышны звуки булькающего ручья.

– Стой! – прошептал 2С. – Молчи! Да стой же, дубина!

Из-за поворота на прачечную беспечно вышла маленькая зеленая утка с круглым глазом.

Я стоял и смотрел на утку.

– Не дыши! – прошептал 2С. – Давай!

Утка проковыляла несколько шагов и замерла. Кажется, ее заинтересовал какой-то паучок на цементной стене, непривычно выглядывающей из-под осыпающейся бурой шапки косматого, как ведьмины косы, тропического плюща. Утка близоруко ткнулась желтым клювом в сырой цемент. В ее круглом глазе отражались электрические щитки.

Я дышал, целился и смотрел утке в глаз. Оказалось, что если контролировать свое дыхание так, чтобы концентрироваться не на дыхании, а на самом процессе контроля, руки перестают дрожать.

Утка покружилась, пошелестела листьями и медленно ушла за поворот.

– Идиот! – 2С выхватил у меня ружье.

За поворотом послышался звук хлопанья крыльев. Утка улетела: спугнул.

– Идиот! – снова заорал 2С и наставил ружье на меня.

– Спокойно, спокойно! – Я вскинул руки и стал пятиться. – Не говорите только, что у нас в подъезде такого не было еще.

2С опустил ружье и заплакал, закрыв неприятно родное бородастое лицо незнакомыми чужими руками.

– Все, – сказал он. – Утку в наш дом не будут больше посылать. И вообще никого не будут теперь посылать несколько дней. Пиздец. Допрыгался, гринпис ебанный. Хиппи сраный.

– У меня крупа есть дома, – сказал я. – Давайте я со всем домом поделюсь.

– Не ходи больше на охоту, – сказал 2С. – Христом Богом молю. Не ходи.

Я поднялся по лестнице, тихо вошел в спальню. Эдвард лежал на кровати в рабочем костюме и спал: видимо, устал после очередных переговоров.

Я тихо лег позади него, обнял и закрыл глаза. Положил руку ему на горло. Вспомнил, как мысленно тренировался на воображаемой курице. Странно, почему вообще эволюцией предусмотрена шея? Это же такое ломкое место.

– Убери руку, – сказал Эдвард.

– Хорошо, – сказал я. – Прости, пожалуйста. Я не смог убить утку.

И подумал: если я его потеряю, они больше не будут посылать мне людей.

– Мы можем туда просто ходить гулять, как в парк, – добавил я. – Осенний парк.

– М-м-м, – сонно ответил Эдвард.

Благословлены иметь тебя в своей жизни

– Не наступите на моего воображаемого жука! – снова закричал маленький Эл за ужином, когда старшие, ошарашенные полураспадом очередного элемента ритуальной еды в печи, растерянно топтались вокруг пылающего ада.

– Он не воображаемый, – скривилась Джей. – Просто залетел жук на огонек.

– Да осторожно же, коровы! – закричал Эл. – Вот почти наступили! Не надо, не надо, не надо!

Джей выскочила из-за стола и точным ударом расплющила крошечного золотистого жука, переливчато застывшего на тонком стыке половиц.

– Ааааааа! – басом заорал Эл.

– Видишь? – Джей с грохотом вернулась за стол. – Это был не твой воображаемый жук. Это был просто жук.

– Воображаемый! – заорал Эл.

– Тогда почему он сдох?

– Потому что я его точно вообразил!

Ну и что, ну и что. Насильственная смерть как единственный способ верификации воображаемого – этим Джей уже было не удивить.

* * *

Тем летом Джей окончательно поняла, что находится в секте. После этого осознания она принимала все, происходящее вокруг, со злобным смирением.

Интернет в доме был ограниченный (тоже один из признаков секты), искромсанный и зауженный воронкой «родительского контроля», поэтому все, что он пропускал, в целом не противоречило правилам секты.

Сделав запрос в городскую библиотеку и дождавшись своей очереди, Джей получила доступ к библиотечным компьютерам и за максимальные доступные ей три часа переписала в тетрадку тщательно нагугленные признаки и правила сект.

Да, все совпадало. Оказывается, Джей выросла в секте. И строгость была во всем, и ритуалы были повсюду, и никакой живой чувствующей души не могло вырасти в этом аду.

Их в этом конкретном отделении секты было всего лишь шестеро: четверо младших, и двое старших и главных (иерархия – тоже важный признак): он-Горовиц и она-Горовиц. Возможно, Горовицы были брат и сестра, выращенные в похожей секте – они были чем-то похожи, одинаково бубнили, одинаково кричали, одинаково хмурились. Горовицам-старшим нужно было безоговорочно подчиняться, за неподчинение применялись различного уровня

дисциплинарные взыскания – часто, например, самое бесчеловечное, имитирующее отлучение от секты, когда с тобой просто прекращали разговаривать, но продолжали кормить, и распределяли паек молча.

Джей и еще двух младших постарше ее, вероятнее всего, украли в детстве и передали Горовицам на воспитание.

Пятилетний Эл – другое дело. Джей помнила, как он появился, его родила она-Горовиц. Вначале рожала дома, орала страшно, часами лежала безрезультатно в ванне и все заглядывала себе под колени, не пошел ли Эл наружу, но потом он-Горовиц устроил скандал и отвез ее в клинику к таким же, как она, и уже через два дня домой принесли молчаливого и тонкого, как спагетти, Эла.

Ритуалов (еще один важный признак) в их секте было огромное множество.

По вечерам все непременно собирались за столом полным составом и ели вместе, еда была всегда разная, но чередовалась. Иногда она-Горовиц лепила шарики из мяса, где она брала мясо, вопрос. Иногда, в дни, когда требовались особые, высокого свойства ритуалы, она приносила голое животное или птицу, четырехлапое что-то, укладывала в раковину. Ждала, пока все стечет, наверное, потом наносила какие-то швы, метки, знаки, и отправляла в печь.

Потом все садились за стол, где иногда посередине царил это уже коричневое животное, наряженное во вспученный кожаный сарафан, полежавшее в печи в масляной бане; от него полагалось отламывать конечности и выходило по одной для каждого младшего. Голова полагалась непонятно чему, ее уносили, и наверное где-то (в подвале?) был склад таких голов. Тоже для ритуалов, вероятно.

Во время таких церемоний полагалось разговаривать на одни и те же темы, но Джей помнила это все смутно, как нескончаемый потоп монотонного речевого ужаса: а что мы сегодня узнали, а что мы сегодня узнали? Когда узнаешь самое главное, все остальное уже не имеет значения.

В секте всегда свои тайные языки, иносказания, словечки, мемы, причудливые переименования очевидного. Здесь было то же самое: свой язык, отдельная речь, птичий щебет. Ты мой воробушек, птичка моя, котичек мой, детка-конфетка. Енотик, иди почисти за котиком (это уже другой котик). Каждое утро полагалось произносить определенные слова, каждый вечер тоже что-то полагалось, и от этих повторов у Джей шумело в ушах – все сливалось в бесконечно шуршащий кошачий песочек.

Были и другие ритуалы. Иногда Горовицы звонили какой-то старухе и робели перед ней. Он-Горовиц уезжал куда-то каждый день в определенное время и в определенной одежде, которая чередовалась, словно глупые стихи из еще одного школьного публичного ритуала, три-четыре, раз-два. Сектантские собрания, наверняка. Пропаганда секты – важный элемент жизни секты. Секта платила ему какие-то деньги на жизнь, а он в благодарность за это отдавал ей время своей (никчемной) жизни.

Раньше всех троих младших Горовицы-старшие отвозили в школы, наверняка намеренно разные (Джей и Эм в одну, Энн – в другую, Эла – в третью), где младшим в основном просто вдабривали правила секты и больше ничему такому не учили: Джей с ужасом это осознала, когда попробовала скомпоновать в голове все свои школьные знания, мысленно вылепив из

них слякотный, ноздреватый февральский ком непригодной мглы. Да, все, что происходило в школе, включало в себя только мир секты и больше ничего.

Потом школы закрылись из-за эпидемии, и правила стали вдалбливать дистанционно, через планшеты, которые опять же раздали в школах. Правила постоянно менялись – вначале можно было выходить на улицу в определенные часы, потом нельзя, общественные заведения вроде бассейна тоже были привязаны к каким-то расписаниям. Плюс постоянно опросы и анкеты: что бы ты сделал, если бы нашел на улице кошелек с деньгами? Как себя вести, если в школе кто-то тебя постоянно бьет и толкает? Джей шутки ради ответила: «Ударить эту суку в ответ», и ее-Горовица директор школы вызывала на беседу из-за того, что у Джей проблемы с управлением агрессией. Оказывается, в секте порицается насилие, но при этом положено жаловаться всем на всех. Публичное осуждение – это прекрасно, а тихое нежное насилие между двумя – повод для публичного осуждения. Никак не ударить ловкую суку даже на словах.

Вне школы тоже кругом были ритуалы и правила, и они постоянно менялись, особенно последний год. Вначале запретили собираться участникам секты в одном пространстве. Потом снова разрешили. Потом снова запретили. Потом запретили коллективно хоронить родственников, похороны стали делом индивидуальным – покойник, фактически, хоронил себя сам с помощью специально обученных мортуарной логистике клерков. Потом разрешили, но только вдесятером – видимо, какое-то новое сакральное число, которое оказалось более действенным в рамках ритуалистики, чем глупый ноль. Все эти правила были бессмысленными, учитывая то, как быстро они сменялись на противоположные: такого рода ограничения обычно направлены на выработку в людях слепого подчинения, чтобы человек не успевал даже задуматься о том, почему и с какой целью он выполняет предписанное, действуя на автомате.

За невыполнение предписаний приходилось платить взносы управляющим сектой. Джей их никогда не видела, но они иногда и впрямь высылали чеки Горовицам, и те расстраивались, что их отлучат – однажды, например, пытались отлучить за то, что она-Горовиц спешила на какое-то свое сектантское собрание для таких же, как она, и поставила машину не с той стороны улицы. Оказывается, в той части города были правила про определенные дни и стороны улицы – скажем, по средам парковаться можно только справа, а в четверг только слева, и если поменять дни местами, то небо упадет на землю и реки выйдут из берегов и берега окрасятся кровью. Горовицы тогда сильно опечалились и даже поругались: они всегда скрупулезно выполняли все правила, а тут что-то сломалось, наверное, доверие.

Оказалось, что в повседневности практически не осталось места воле или желаниям. Джей просыпалась – и начиналась повторяющаяся муть; каждое повседневное действие было выполнением правил и частью ритуала. Нанести на лицо белую мазь, под пиджак обязательно светлую сорочку, залить хлебное крошево молочной рекой, сложить маленькому Элу два квадратных бутерброда с белым хлебом, жидким зефиром и арахисовым маслом, и жидкий зефир – непременно снизу, все кладется в ланч-коробочку зефиром вниз, иначе будет истерика.

Эл был единственным, кого повторы и ритуалы успокаивали, но это из-за его особенности. Джей же они сводили с ума. Ни одного осмысленного поступка живой души – только следование бесчисленным однообразным паттернам.

При этом секта закрытая, чужакам тут не рады. Энн в прошлом году переписывалась с каким-то парнем из соседнего города не из сектантских, из нормальных. И вот он однажды приехал к ней в гости, и он-Горовиц его чуть не убил, хотя это был здоровый семнадцатилетний

люб. И Энн тоже чуть не убил – потому что привела чужака. Для сект это обычное дело – жесткое разделение на своих и чужих.

После эпизода с жуком Джей поняла, что надо с этим что-то делать. Если она продолжит расти в секте, она не сможет адаптироваться к реальному миру, если когда-нибудь в него попадет: с уходом из секты тоже, как она подозревала, были какие-то сложности.

Джей решила спросить у остальных младших товарищей по секте, понимают ли они, куда попали.

С Энн разговор вышел так себе – ей уже было 17, и ее интересовали только парни.

– Как выпускной в этом году? – бесхитростно спросила Джей, используя одну из самых жестоких ритуальных схем.

– Ты чо, у нас же в интернете выпускной, – вытаращилась Энн. – Я думала, ты знаешь.

– Никто не позвал? – скривилась Джей. – Ой бедная-бедная.

Энн закатила глаза.

– Тебе деньги на что-то нужны, да? Говори сразу, в чем дело.

– Тебе не кажется, что мы в секте? – сразу выпалила Джей. – Ты взрослая, ты должна понимать. Все признаки секты: ритуалы, правила, ограничения, восхваление нашей ячейки, неприятие чужих – помнишь, как с этим чуваком твоим вышло – запреты, наказания, мнимое чувство единства и любви, которое – ну – нам просто навязывается, ты же сама видишь.

– Ты серьезно? – вытаращилась на нее Энн. – Наоборот же, они нас поддерживают, нормальные чуваки. У других еще хуже. Ничего они нас не ограничивают. И гордятся нами. Чего ты на них гонишь?

– Ага, гордятся! – затараторила Джей. – Это все ритуалы. Вспомни, как они говорят: как же здорово, какая же ты у нас прекрасная, как мы гордимся тем, что ты у нас есть, мы благословлены иметь тебя в своей жизни, ты такая смелая, ты такая умная; и это все одними и теми же словами произносится раз в год для каждой из нас, и все потом режут такой круглый кремовый, ну, ты знаешь, и свечи надо задуть, и шары, и так постоянно! Или вот Эл недавно нарисовал в школе домик с роботами – и помнишь, что было? Как здорово! Как прекрасно! Какие они все прекрасные! Какие клевые ребята! А что нарисовал Эл – полную фигню он нарисовал. Просто он особенный, и его надо поддерживать, поэтому все говорят ему, что он делает что-то прекрасное. Это потому, что мы в секте!

Энн, корчась (от слез? от хохота) достала из-под подушки телефон.

– Не тараторь, дура! Помедленнее! Я тебя сейчас запишу, в ТикТок выложу!

Гордость! – продолжала Джей. – Вот как они про Эм говорят – милая, мы так тобой гордимся! Ты такая упрямая в достижении своих целей! Твои успехи греют нам сердце! Это же все схемы, эти слова не означают ничего вообще. Я рассчитала все реакции, я всю последнюю неделю их записывала, вообще все поддерживающие слова записывала и анализировала, клянусь, они все одинаковые, это просто сленг, это другие обозначения, это отдельная речь, это такой развернутый страшный мем, который сам себя повторяет и множится. Ну что это за бред – мы благословлены иметь тебя в своей жизни? Что это за срань? Это какая-то фраза из послесмертия, в ней никакой жизни нет и быть не может!

Энн отложила телефон и серьезно спросила:

– Ты куришь какую-то херню?

– В нашей секте запрещены вещества, – покачала головой Джей, – Я уже этот вопрос выяснила, причем очень жестко. За что у нас были санкции? За вещества! Помнишь, Эм зимой курила какую-то дурь? Он-Горовиц ей врезал. И, кстати, полицию никто не вызывал. Потому что полиция тоже часть секты. Весь город секта. Школы, полиция, рестораны, кафе. Похоронные дома, аптеки, дома престарелых.

– Давай ты просто скажешь мне, что ты шутишь, и мы сделаем вид, что этого разговора не было, хорошо?

– Как мы сюда попали? – закричала Джей. – Эла они родили, это понятно. И понятно, почему у него аутизм – потому что они брат и сестра, родные. А нас похитили, получается? В каком возрасте? Что ты помнишь до того, как к ним попала? Кто наши настоящие родители? Мы с тобой родственницы или нет?

– Можно сделать генетический тест, – сказала Энн, – Но лучше бы мы не были с тобой родственницами, потому что я не хочу, чтобы мне эта хрень передалась тоже. Иди давай перед кем-нибудь еще выебнись, хорошо? Я устала.

Джей решила не хлопать дверью, потому что вспомнила, что это тоже ритуальное действие, символизирующее гнев и отчаяние.

Действительно, почему бы не выебнуться перед кем-то еще, раз уж назад дороги нет. Одноклассники! Когда-то она нравилась Тео, прошлой осенью он предлагал ей гулять с ним вместе. Это ни к чему такому не привело, конечно, ей было всего двенадцать, и тогда она чудовищно стеснялась, кривилась, отворачивалась. Теперь ей тринадцать и, наверное, уже можно гулять с мальчиками и все может быть серьезно. Когда у нее начались месячные (как раз в тринадцать), она-Горовиц тут же объявила: теперь с мальчиками надо осторожно. Осторожно что? Этого она-Горовиц не объясняла. Осторожно целоваться? Джей решила, что пойдет наперекор ритуалам и будет делать все максимально неосторожно.

Она позвонила Тео с домашнего телефона и томным утиным голосом, как было принято у ее одноклассниц, прогнусавила:

– Давай увидимся. Скука страшная. Как проходит твое лето?

Тео отреагировал с неожиданным энтузиазмом и тут же предложил поехать на велосипедах на озеро, он знает, куда именно. Джей принимала все его предложения с восторгом: да, велосипед! Да, озеро! Да, алкоголь! Тео взял с собой бутылку вина, и они выпили ее практически сразу.

– Так, теперь я готова, – зажмурилась Джей. – Важный разговор.

– Я знаю, – закивал Тео. – Я тоже готов.

– Короче, мне кажется, что я в секте. И все в нашем городке тоже в секте. У нас все разделено по кластерам – ты не замечал? Все живут маленькими сообществами в основном по

3–8 человек. Встречаются раз в неделю в доме для совместных ритуалов и молитв, сидят там на скамейках. Потом еще ритуалы, даже покупка продуктов ритуалы, ты видел, как они говорят, как они здороваются? Попробуй выйти за пределы ритуала – тебе пиздец, жопа. Сразу говорят: ты ненормальная. Странная. Откуда это – тебя называют странной, как только выпрыгиваешь из ритуала?

– Ты не странная, – немного подумав, ответил Тео, – Но вообще слушай, у всех так, все так живут. Это нормальная жизнь.

– Ты так думаешь, потому что мы не видели другой жизни! И, наверное, уже не увидим!

Тут Тео решил, очевидно, показать Джей возможность другой жизни и стал ее целовать винными теплыми губами.

Вот это и происходит со мной, подумала Джей, мой первый поцелуй. Что я должна чувствовать? Являются ли все эти чувства навязанными мне? Где во всем этом мои собственные чувства? Вместо чувств Джей чувствовала собственные зубы, которые вдруг показались ей щербатыми и неловкими, как шахматы в чужой гостиной.

– А что происходит с людьми в 18 лет после школы? – спросила она, когда Тео отлепился от нее, чтобы отдышаться. – Они же почти всегда куда-то уезжают из городка! Куда? Это другой уровень?

– Учиться уезжают, – недоверчиво сказал Тео.

– Чему учиться? – потрясла его за плечи Джей. – Вот чему и куда? Почему они не возвращаются? Никто из них еще не вернулся!

Тео тоже схватил Джей за плечи и опять начал ее целовать. Джей ничего не чувствовала: никакой мягкости, никакой теплоты, как будто бы она не была влюблена. Но она и не была, наверное. У Тео был теплый и чуть колючий язык, как у кошки.

– Это тоже правило? – спросила она после. – То, как надо обращаться с языком у себя во рту, когда чужой. Именно так, а не иначе?

– Я интуитивно, – улыбнулся Тео, – И я в кино видел. Не подумай, что я со всеми подряд целуюсь. Тебе так не нравится?

– Кино! Телевизор! – взвилась Джей. – Вот именно! Они смотрят там только про такого же типа секты, как наша, серьезно! Это тотальная жопа, невозможно вырваться, замкнутый круг! Извини, но у меня другая интуиция!

– Скажи, если тебе не нравится, – расстроился Тео. – Я не хочу делать тебе больно или неприятно.

– Ты делаешь мне больно и неприятно тем, что уже повторяешь все эти схемы! – рассердилась Джей.

– Давай ты попробуешь потопить вином перед тем, как ехать домой, – растерянно сказал Тео. – Два пальца, все дела. Твои меня убьют. Я не думал, что ты так напьешься с двух стаканов.

* * *

Эм была последней надеждой. Эм недавно исполнилось четырнадцать, и она себя вела как запредельно сложный подросток: курила травку, развешивала по стенам готические плакаты про смерть, страшно хамила Горовицам и однажды даже пыталась сбежать из дома, но ее, конечно же, нашли в ближайшем Старбаксе и надавали по жопе. Возможно, Эм уже давно знает про секту и поэтому ее так кроет. Возможно, ей даже не нужно ничего объяснять.

– Снова у тебя это, – вздохнула Эм, когда Джей выложила ей все. – То, что было в прошлом году. Только еще хуже теперь. Будем говорить предкам?

– У нас даже имен нет! – запищала Джей, в ужасе понимая, что выбалтывает, выкладывает бессердечной Эм самую страшную, самую сокровенную свою догадку. – Мы просто инвентарь. Нас называли по буквам, как однопометных собак: Джей, Эл, Эм, Эн. Не хватает Кей: J, K, L, M, N. Должен быть пятый ребенок.

– Пятый? – ужаснулась Эм.

Оказалось, что у нее-Горовиц за пару лет до Эла был выкидыш – Эм об этом всегда знала, но не рассказывала, но сейчас решила рассказать.

Джей в ужасе охнула:

– А почему мы не в алфавитном порядке? К идет перед L, это нормально. Я иду перед K, это тоже правильно. Но почему ты и Энн идут после нас? Они перепутали наши буквы? С какой целью?

– Какой бред, господи, это просто сокращенные имена, это не буквы. Эл – это Александр. Эм – это Анна-Мария, мое полное имя. Только у тебя и Энн это полные имена, но это тоже не буквы.

– Это буквы! Буквы! – заплакала Джей.

– Ты хочешь, чтобы я все рассказала родителям и тебя снова отвезли в клинику? – мягко спросила Эм. – Мне бы этого очень не хотелось. Я в прошлый раз, вот честно, ужасно себя чувствовала, когда тебя увезли. Тут я с тобой согласна: они не должны были тебя отдавать, они тебя фактически предали. Поэтому ты теперь и не можешь признать, что эти люди – твои родители. И ты их диссоциируешь таким вот образом.

– Это их сектантские клиники, – продолжала плакать Джей, – За пределами города вообще другие правила, все по-другому, я тебе клянусь, давай попробуем. Надо просто выехать из города и сказать, что мы в сектантском поселении, можно к первому полицейскому подойти и сказать. Мы просто не видели ничего другого. Ты же хотела уехать, ты же убегала, ну. Давай попробуем. Может быть, мы сможем найти своих настоящих родителей. Мы вернемся домой. Домой, представляешь?

Эм тоже заплакала, стала обнимать Джей и гладить ее по голове. Все это было совершенно не то, что Джей было нужно – это тоже был ритуал, причем один из самых мерзких.

Все рассыпалось, все провалилось.

Эм пообещала, что не будет ничего рассказывать Горовицам, хотя Джей ее об этом не просила. Джей просила ее только об одном, и Эм эту просьбу не выполнила.

Как ни удивительно, только маленький Эл понял ее сразу же. Джей даже не думала говорить с ним об этом всем – Эл был особенный, поэтому некоторых вещей он просто не понимал.

– Ты моя воображаемая сестра, – сказал он, заметив, как зареванная Джей крадется через кухню, чтобы взять из холодильника бутылочку с соком. – Поэтому ты не такая, как все.

– Ты тоже не такой, как все, – огрызнулась Джей.

– Не наступите на мою воображаемую сестру, – захихикал Эл.

– Слушай, – вдруг серьезным голосом спросила Джей, – А ты никогда не думал о том, что тебя с этим домом вообще ничего не связывает?

– Вообще ничего, – закивал Эл. – Все ненастоящее, все страшное. Настоящий только я, и ты тоже настоящая, потому что ты воображаемая сестра. Все остальное я не могу контролировать.

– Ты генетический продукт руководителей нашей ячейки, – вздохнула Джей. – Я не требую от тебя сверх-уровня понимания. Но я тебе сейчас попытаюсь все объяснить.

* * *

Когда они наконец сели в машину, было около трех часов утра. В багажнике было все, что нужно – Горовицы спали крепко, потому что принимали на ночь всевозможные ритуальные сонные шарики.

Хотя нет, не все. Подумав, Джей спустилась в подвал и принесла оттуда два ружья и коробку патронов. Подошла к багажнику, потом вздохнула и положила все на заднее сиденье.

– Теперь все, – выдохнула она. – Поедем искать свою семью.

– Меня родили эти люди, – напомнил Эл.

– Хорошо, давай так, – сказала Джей, – Ты согласен жить с нами, если я найду свою настоящую семью? Мы тебя усыновим, обещаю. Клянусь, мои настоящие мамочка и папочка – отличные ребята.

– А дашь пострелять? – спросил Эл.

– Когда доедем до пустыни – пожалуйста, – пожала Джей плечами. – Сделаю тебе там тир. Или будем палить по гремучим змеям.

– Змей убивать нельзя, – строго сказал Эл.

– А белых голых птиц убивать можно, – осадила его Джей. – Если у живого существа есть конечности, совпадающие числом с количеством младших жильцов ячейки, это не значит, что оно циклически обречено на ритуальное уничтожение. Змея – удел одиночек, как мы. Два конца, посередине гвоздик. Мы теперь ячейка из двоих, змея нам в самый раз.

– Со стороны погребушки – твоя половинка, – сказал Эл.

Джей еще немного подумала, вылезла из машины, и втащила в багажник еще одну канистру с бензином. Ей тринадцать. По ней видно, сколько ей лет. На первой же заправке ее останавливают. Поэтому придется ехать, пока хватит бензина.

Механическая дверь гаража страшно заскрипела, закрываясь, но ни в одном окошке не зажегся свет. Наверное, можно было что-нибудь прокричать на прощание – все равно никто бы не услышал.

Они ехали очень долго – час, два, три, шесть. Джей решила, что раз у нее другая интуиция, ей стоит целиком этой интуиции довериться и не смотреть на дорожные указатели.

Последние три часа за окном медленно текла пустыня; встречных машин практически не было.

На призрачной, полужаметной развилке Джей свернула налево, на узенькую, совсем неухоженную дорогу. Так они ехали еще три часа, пока пустыня не закончилась, и дорога тоже не закончилась, и бензин тоже не закончился.

Джей обернулась, схватила с заднего сиденья ружье, открыла дверь.

– Не наступи на мою воображаемую змею, – тихо прошептал Эл. Было заметно, что ему страшно.

Джей вышла. Вдалеке чернели горы, в летнем утреннем мареве угадывались бесконечные луга, где паслись будто нарисованные овечки и коровки; из тумана постепенно выступили какие-то странные, ни на что не похожие куполообразные блестящие строения на колесах. Из них стали выходить люди, мужчины и женщины в одинаковых и незнакомых длинных одеждах, расшитых золотом и синевой, и их было много – два, десять, двадцать, пятьдесят.

Джей опустила руку с ружьем, люди ее окружили.

Ружье упало в песок. И сама Джей тоже упала в песок и закрыла глаза.

«Я наконец-то дома, – думала Джей. – Я нашла свой дом. Я как собака, выброшенная на ветер, на пустое шоссе, я чую направление сердцем».

Из самого красивого и блестящего строения вышли двое с сияющими бездонными голубыми глазами, похожие на богов, и это были самые прекрасные люди в мире, прорастающие вниз корнями в песок при каждом своем шаге, и корни пронизывали землю насквозь до самого раскаленного жидкого ее дна и сути, и напивались огненной сутью, которая вспыхивала в глазах.

Это были ее отец и мать – ровно такие же вспышки видела Джей в зеркале всякий раз, когда осмеливалась взглянуть себе в глаза.

Она поднялась и сделала шаг им навстречу.

Три один один

Когда Джо вспомнила, что кофе снова остыл, в дверь позвонили и закричали «Полиция». Или, скорей всего, в дверь вначале позвонили и закричали, и уже тогда Джо вспомнила, что нажала на эспрессо-машине кнопку «Лунго» минут десять назад, а потом что – потом сидела и скроллила чужие жидкие жизни с повторами туда-сюда. Можно насыпать кубиков из моро-зилки и будет ледяной кофе, хотя кто пьет ледяной кофе в ноябре?

Как-то они проникли в подъезд, раз звонят прямо в дверь. Слышимость в доме слишком хорошая – не должно быть так, чтобы представляющегося из-за двери было слышно из спальни. Значит, они тоже услышали, как Джо подкралась к двери. Никаких шансов.

Сложно не открыть дверь, когда за ней полиция. Погружая в палец резкий консервный курок заслонки глазка, Джо опасалась, что за стеклом возникнет пистолетное дуло, она слышала, что так убивают людей или подозреваемых, которые еще пока не люди – четко, прямо в глаз. В глазке плавал полицейский значок с длинным тошнотворным именем нрзбрч – будь что будет, Джо открыла дверь и привычно сделала заспанный вид, как делала всегда, когда приносили почту, плохие вести, мертвых птиц и чужую еду в пропотевшем картоне.

– Жалоба три-один-один, – сказал полицейский. – На шум. Вы меня впустите?

Джо покосилась на эспрессо-машину.

– Она тихая, – сказала Джо. – Не так уж и много шума.

– Она? – удивился полицейский. – Вы писали «он». И там было написано, что он не тихий, а наоборот. Я из службы три-один-один. Жалоба на шум.

Джо просияла.

– А, это! Да, конечно! Жаловалась, еще как! Как хорошо, что вы пришли! Да, жалоба на шум, еще какой. Вы присядьте, пожалуйста. Я вам сейчас сделаю кофе. Это очень тихая эспрессо-машина, никто из соседей пока не жаловался.

– Я не буду кофе, – сказал полицейский. – У меня нет времени. Давайте быстро вашу жалобу. Жозефина Стенциян, 33, шумный сосед в доме напротив. Мы, думаете, по полдня на каждую жалобу тратим, часами в домах просиживаем, чаи гоняем. Ничего подобного. Вас у нас тысячи. Так что случилось? Покажите, где там шумят.

– Короче, – Джо забросила в эспрессо-машину перламутрово-бирюзовую капсулу и надавила всем телом на рычаг. – Шумный сосед, да. Вот там окно. И за окном – видите? – этот дом крутой, который из церкви перестроили. В нем квартиры столько стоят, что я в жизни не заработаю таких денег – я фрилансер, веду социальные сети нескольких медицинских бизнесов, немножко лекции читаю – мне еле-еле на эту студию денег хватает, это половина зарплаты. А там – ну, лакшери же – по идее живет преуспевающий средний класс. И вот непонятно каким образом, может, в лотерею выиграл – там этот мужик на пятом этаже, который практикует вуду прямо в форточку.

– Вуду? – с интересом переспросил полицейский.

– Ну, не вуду. Обея. Есть такая религия в Ямайке. Откуда я знаю? Да прочитала, я гуглила целый месяц все, что могла, про это дерьмо. Причем в Ямайке она запрещена на уровне закона. Буквально: за обею тебя могут в тюрьму, это криминал. А тут – видите, приходится вызывать не настоящую полицию, а такую вот домашнюю, три-один-один.

– Я настоящая полиция, – мрачно сказал полицейский.

Джо протянула ему чашку горячего кофе, полицейский покачал головой медленно-медленно, словно на его голове стояла огромная корзина со спелыми тонкокожими персиками.

– Короче, там даже нет богов, по большому счету, – продолжила Джо. – Человек сам придумывает себе практики и ритуалы и работает с ними. Изгоняет демонов, например. Призывает разного рода магические сущности, чтобы кому-то помочь или там, ну, наоборот. «Обея» – это от слова «убию», на одном из нигерийских языков это «плохой знак». Короче, это плохой убик, если вы понимаете, о чем я.

– Не понимаю, – ответил полицейский. – У меня мало времени.

– Извините, – Джо отпила кофе, отметив про себя, что это чужой кофе, наверняка предназначенный полицейскому и его покачивающемуся головному воинству полупрозрачных фруктов непонимания. – В общем, это плохая, очень нехорошая ритуальная шаманская практика. На работу он не ходит, сидит дома. Практикует круглосуточно. После каждого ритуала ему надо, видимо, произвести выброс духовных отходов или выпустить на волю темные силы, которые он изгонял из своих клиентов. Делает он это прямо в форточку: надевает такую, знаете, золотую голову быка, видели такие? Как на дискотеке в лабиринте.

Полицейский кивнул.

– Нет, – смутилась Джо. – Я риторически спросила, вы таких не видели точно. Короче, он надевает голову быка, открывает окно, вылезает оттуда и вываливает туда эти ритуалистические песенные отправления. Звучит это чудовищно, и, вот честно, очень раздражает и пугает. Понимаете, это черная энергия. И она такая не потому, что она такая, а потому что он уверен, что она такая – и я знаю, что он уверен в этом, и сумма наших знаний дает вот это вот все. А так я материалист. Я в эту херню не верю.

– Вы записали аудио, так? Мы получили несколько записей, но там ничего не разобрать.

– Да, да, – закивала Джо. – Записала. Он вот так вот высовывается – и начинает с таких длинных завываний, как бы готовится: ооооо! ооооо! На весь квартал. А потом вот так вот немножко как индюшка: гегооо-гегооо, гелагоооо, оооо! гегоооо, гелагоооо, гелагэ! глоглогло, гееее!

Джо помахала руками, изображая индюшку, потом скривилась и опустилась на стул.

– У меня артрит там, в коленке, и спина болит почти постоянно. И еще нога опухла – что-то с оттоком лимфы. Это уже месяц длится. Я точно знаю, что это его энергия. Не в том смысле, что это объективно такая энергия. Просто я точно знаю, что он верит в то, что делает. Поэтому я постепенно разрушаюсь. Видите, нога не работает почти.

Джо поднялась, немного попрыгала на больной ноге, потом снова скривилась и триумфально опустилась на пол штопорообразным движением, как в современном балете.

Полицейский смотрел на нее, подняв брови. Джо заметила, что полицейский – ее возраста, просто выглядит очень уставшим.

– Это вы думаете, что у меня уже все, началось, да? – усмехнулась она. – Так вот у меня еще не началось. Я отлично. Я в порядке. Просто знаете – он это делает раз семь в сутки, и ночью тоже, я просыпаюсь в полной тишине, лежу и слушаю это его курлыканье и завывания, и знаете – там такая ярость, там такая злость на мир – что у меня сердце в груди дергается и трепыхается безысходно и навсегда, как когда цыпленка душишь, знаете?

– Я понял, – сказал полицейский. – Темное дельце.

– Я вам чаю сделаю? – снова предложила Джо. – Может, вы кофе не пьете вообще, у вас и так работа стрессовая. Надо было сразу чай предложить, я дура.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.